
Станислав Лем
СОЛЯРИС

Солярис
Станислав Лем

Аннотация
Станислав Лем. «Солярис»
Прибытие
Соляристы
Гости
Сарториус
Хари
«Малый апокриф»
Совещание
Чудовища
Жидкий кислород
Разговор
Эксперимент
Сны
Успех
Старый мимоид

Аннотация

Роман Станислава Лема «Солярис» — шедевр жанра научной фантастики, в котором писатель предугадал главную проблему нашей цивилизации: огромный разрыв между высочайшим уровнем научной и технической мысли и моральным развитием человека. Что готовят нам грядущие встречи с иными мирами? Что способны им принести даже лучшие из нас? Ответы на эти вопросы пытаются найти герои романа, вступившие в контакт с разумными существами иного мира.

Станислав Лем
«Солярис»

Прибытие

В девятнадцать ноль-ноль бортового времени я спустился по металлическим ступенькам внутрь контейнера. В нём было ровно столько места, чтобы поднять локти. Я вставил наконечник шланга в штуцер, выступающий из стены, скафандр раздулся, и я не мог больше сделать ни малейшего движения. Я стоял, вернее сидел, в воздушном ложе, составляя единое целое с металлической скорлупой.

Подняв глаза, я увидел сквозь выпуклое стекло сте́ны колодца и выше лицо склонившегося над ним Моддарда. Потом лицо исчезло и стало темно — это наверху закрыли тяжёлый предохранительный конус. Послышался восьмикратно повторённый свист электромоторов, которые дотягивали болты, потом писк воздуха в амортизаторах. Глаза привыкали к темноте. Я уже видел зеленоватый контур универсального указателя.

— Готов, Кельвин? — раздалось в наушниках.

— Готов, Моддард. — ответил я.

— Не беспокойся ни о чём. Станция тебя примет, — сказал он. — Счастливого пути!

Ответить я не успел — что-то наверху заскрежетало, и контейнер вздрогнул. Инстинктивно я напряг мышцы. Но больше ничего не случилось.

— Когда старт? — спросил я и услышал шум, как будто зёрнышки мельчайшего песка сыпались на мембрану.

— Уже летишь, Кельвин. Будь здоров! — ответил близкий голос Моддарда.

Прежде чем я как следует это осознал, прямо против моего лица открылась широкая щель, через которую я увидел звёзды. Напрасно я пытался отыскать Альфу Водолея, к которой улетал «Прометей». Эта область Галактики была мне совершенно неизвестна. В узком окошке мелькала искрящаяся пыль. Я понял, что нахожусь в верхних слоях атмосферы. Неподвижный, обложенный пневматическими подушками, я мог смотреть только перед собой. Я летел и летел, совершенно этого не ощущая, только чувствовал, как постепенно моё тело коварно охватывает жара. Смотровое окно наполнял красный свет. Я слышал тяжёлые удары собственного пульса, лицо горело, шею щекотала прохладная струя от климатизатора. Я пожалел, что мне не удалось увидеть «Прометей» — когда автоматы открыли смотровое окно, он, наверное, был уже за преде-

лами видимости.

Контейнер взревел раз, другой, потом его корпус начал вибрировать. Эта нестерпимая дрожь прошла сквозь все изолирующие оболочки, сквозь воздушные подушки и проникла в глубину моего тела. Зеленоватый контур указателя размазался. Я не ощущал страха. Не для того же я летел в такую даль, чтобы погибнуть у самой цели.

— Станция Солярис, — произнёс я. — Станция Солярис. Станция Солярис! Сделайте что-нибудь. Кажется, я теряю стабилизацию. Станция Солярис, я Кельвин. Приём.

Я прозевал важный момент появления планеты. Она распростёрлась, огромная, плоская; по размеру полос на её поверхности я сориентировался, что нахожусь ещё далеко. А точнее, высоко, потому что миновал уже ту невидимую границу, после которой расстояние до небесного тела становится высотой. Я падал и чувствовал это теперь, даже закрыв глаза.

Подождав несколько секунд, я повторил вызов. И снова не получил ответа. В наушниках залпами повторялся треск атмосферных разрядов. Их фоном был шум, глубокий и низкий. Казалось, это был голос самой планеты. Оранжевое

небо в смотровом окне заплыло бельмом. Стекло потемнело. Я инстинктивно сжался, насколько позволили пневматические бандажи, но в следующую секунду понял, что это тучи. Они лавиной неслись вверх. Я продолжал планировать, то ослепляемый солнцем, то в тени. Контейнер вращался вокруг вертикальной оси, и огромный, как будто распухший, солнечный диск равномерно проплывал мимо моего лица, появляясь с левой и уходя в правую сторону. Внезапно сквозь шумы и треск прямо в ухо ворвался далёкий голос.

— Станция Солярис — Кельвину, Станция Солярис — Кельвину. Всё в порядке. Вы под контролем Станции. Станция Солярис — Кельвину. Приготовиться к посадке в момент нуль. Внимание, начинаем. Двести пятьдесят, двести сорок девять, двести сорок восемь…

Отдельные слова падали, как горошины, чётко отделяясь друг от друга; похоже, что говорил автомат. Странно. Обычно, когда прибывает кто-нибудь новый, да ещё с Земли, все, кто может, бегут на посадочную площадку.

Однако времени для размышлений не было. Огромное кольцо, очерченное вокруг меня солнцем, вдруг встало на дыбы вместе с равниной, летящей мне навстречу. Потом крен изменился

в другую сторону. Я болтался, как груз огромного маятника. На встающей стеной поверхности планеты, исчерченной грязно-лиловыми и бурыми полосами, я увидел, борясь с головокружением, бело-зелёные шахматные квадратики — опознавательный знак Станции. В этот момент от верха контейнера с треском оторвался длинный ошейник кольцевого парашюта, который громко зашелестел. В этом звуке было что-то невыразимо земное — первый, после стольких месяцев, шум настоящего ветра.

Дальнейшее происходило очень быстро. До сих пор я только знал, что падаю. Теперь я это увидел. Бело-зелёное шахматное поле стремительно росло. Уже было видно, что оно нарисовано на удлинённом, китовидном серебристо-блестящем корпусе с выступающими по боками иглами радарных установок, с рядами более тёмных оконных проёмов, что этот металлический гигант не лежит на поверхности планеты, а висит над ней, волоча по чернильно-чёрному фону свою тень — эллиптическое пятно ещё более глубокой черноты. Одновременно я заметил подёрнутые фиолетовой дымкой лениво перекатывающиеся волны океана. Затем тучи ушли высоко вверх, охваченные по краям ослепительным пурпу-

ром, небо между ними было далёкое и плоское, буро-оранжевое. В смотровом окне заискрился ртутным блеском волнующийся до самого дымного горизонта океан, тросы и кольца парашюта мгновенно отделились и полетели над волнами, уносимые ветром, а контейнер начал мягко раскачиваться особыми свободными движениями, как это бывает обычно в искусственном силовом поле и рухнул вниз. Последнее, что я увидел, были огромные решётчатые катапульты и два возносящихся, наверное, на высоту нескольких этажей, ажурных зеркала радиотелескопов.

Что-то остановило контейнер, раздался пронзительны скрежет стали, упруго ударившейся о сталь, что-то открылось подо мной, и с продолжительным пыхтящим вздохом металлическая скорлупа, в которой я торчал выпрямившись, закончила своё стовосьмидесятикилометровое путешествие.

— Станция Солярис. Ноль-ноль. Посадка окончена. Конец, — услышал я мёртвый голос контрольного автомата.

Обеими руками (я чувствовал неясное давление на грудь, а внутренности ощущались как ненужный груз) я взялся за рукоятки и выключил контакты. Появилась зелёная надпись — «Земля»,

стенки контейнера разошлись, пневматическое ложе легонько подтолкнуло меня в спину, и, чтобы не упасть, я вынужден был сделать шаг вперёд.

С тихим шипением, похожим на разочарованный вздох, воздух покинул оболочку скафандра. Я был свободен.

Я стоял под огромной серебристой воронкой. По стенам спускались пучки цветных труб, исчезая в круглых колодцах. Вентиляционные шахты урчали, втягивая остатки ядовитой атмосферы планеты, которая вторглась сюда во время посадки. Пустая, как лопнувший кокон, сигара контейнера стояла на дне врезанной в стальной холм чаши. Его наружная обшивка обгорела и стала грязновато-коричневой. Я сделал несколько шагов по маленькому наклонному спуску. Дальше металл был покрыт слоем шероховатого пластика. В тех местах, где обычно проходили тележки подъёмников ракет, пластик вытерся и сквозь него проступала голая сталь.

Компрессоры вентиляторов умолкли, наступила полная тишина. Я осмотрелся, немного беспомощно, ожидая появления какого-нибудь человека, но никто не приходил. Только неоновая стрела показывала на бесшумно двигающийся

ленточный транспортёр. Я встал на его площадку.

Свод зала изящной параболой падал вниз, переходя в трубу коридора. В его нишах возвышались груды баллонов для сжатых газов, контейнеров, кольцевых парашютов, ящиков — всё было свалено в беспорядке, как попало. Это меня удивило. Транспортёр кончился у округлого расширенного коридора. Здесь господствовал ещё больший беспорядок. Из-под груды жестяных банок растекалась лужа маслянистой жидкости. Неприятный сильный запах наполнял воздух. В разные стороны шли следы ботинок, чётко отпечатавшихся в этой жидкости. Между жестянками, как бы выметенными из кабин, валялись витки белой телеграфной ленты, мятые листы бумаги и мусор. И снова загорелся зелёный указатель, направляя меня к средней двери. За ней был коридор, такой узкий, что в нём едва ли смогли бы разойтись два человека. Свет падал из выходящих в небо окон с чечевицеобразными стёклами. Ещё одна дверь, выкрашенная в белые и зелёные квадратики. Она была приоткрыта. Я вошёл внутрь.

Полукруглая кабина имела одно большое панорамное окно. В нём горело затянутое дымкой

небо. Внизу безмолвно перекатывались бурые холмы волн. В стенках было много открытых шкафчиков. Их наполняли инструменты, книги, склянки с засохшим осадком, запылённые термосы. На грязном полу стояло пять или шесть механических подвижных столиков, между ними несколько кресел, бесформенных, так как из них был выпущен воздух. Только одно было надуто. В нём сидел маленький изнурённый человек с лицом, обожжённым солнцем. Кожа клочьями слезала у него с носа и щёк. Я узнал его. Это был Снаут, заместитель Гибаряна, кибернетик. В своё время он напечатал несколько совершенно оригинальных статей в соляристическом альманахе. Раньше я его не видел. На нём была рубашка-сетка, сквозь ячейки которой торчали седые волоски, росшие на плоской груди, и когда-то белые, запачканные на коленях, сожжённые реактивами полотняные штаны с многочисленными карманами. В руке он держал пластмассовую грушу, из каких пьют на космических кораблях, лишённых искусственной гравитации. Он посмотрел на меня, как бы поражённый ослепительным светом. Груша выпала из его ослабевших пальцев и запрыгала по полу, как мячик. Из неё вылилось немного прозрачной

жидкости. Постепенно вся кровь отхлынула от его лица. Я был слишком поражён, чтобы что-нибудь сказать, и эта безмолвная сцена продолжалась до тех пор, пока мне каким-то непонятным способом не передался его страх.

Я сделал шаг. Он скорчился в кресле.

— Снаут, — прошептал я.

Он вздрогнул, как будто его ударили. Глядя на меня с неописуемым отвращением, прохрипел:

— Не знаю тебя, не знаю тебя, чего ты хочешь?...

Разлитая жидкость быстро испарялась. Я почувствовал запах алкоголя. Он пил? Был пьян? Но почему он так боялся? Я всё ещё стоял посреди кабины. Ноги у меня обмякли, а уши были как будто заткнуты ватой. Давление пола под ногами я воспринимал как что-то не совсем надёжное. За выгнутым стеклом окна мерно колебался океан.

Снаут не спускал с меня налитых кровью глаз. Страх уходил с его лица, но не исчезло с него невыразимое отвращение.

— Что с тобой?... — сказал он тихо. — Ага. Будешь заботиться, да? Но почему обо мне? Я тебя не знаю.

— Где Гибарян? — спросил я.

На секунду Снаут потерял дыхание. Его глаза

снова стали стеклянными. В них вспыхнула какая-то искра и тотчас угасла.

— Ги… Гиба… — пролепетал он. — Нет!!!

Он затрясся в беззвучном идиотском смехе и затих.

— Ты пришёл к Гибаряну? — Это было сказано почти спокойно. — К Гибаряну? Что ты хочешь с ним делать?

Он смотрел на меня так, как будто я перестал быть для него опасным. В его словах, а ещё больше в тоне было что-то ненавидяще-оскорбительное.

— Что ты городишь?… — пробормотал я, ошарашенный. — Где он?

Он остолбенел:

— Ты не знаешь?…

«Он пьян, — подумал я, — пьян до невменяемости». Меня охватил растущий гнев. Мне, конечно, нужно было уйти, но моё терпение лопнуло.

— Приди в себя, — прикрикнул я. — Откуда я могу это знать, если только что прилетел! Что с тобой делается, Снаут?!!

У него отвалилась челюсть. Он снова на мгновение задохнулся. Быстрый блеск появился в его глазах. Трясущимися руками он вцепился в ручки кресла и с трудом, так что затрещали суставы, встал.

— Что? — сказал он, трезвея на глазах. — Прилетел? Откуда прилетел?

— С Земли, — ответил я зло. — Может, ты слышал о ней? Похоже, что нет!

— С Зе… Великое небо! … Так ты — Кельвин?

— Да. Что ты так смотришь? Что в этом удивительного?

— Ничего, — ответил он, быстро моргая глазами.— Ничего.

Он потёр лоб.

— Извини меня, Кельвин. Это так, знаешь, просто от внезапности. Не ожидал.

— Как не ожидал? Ведь вы получили сообщение несколько месяцев назад, а Моддард радировал ещё раз сегодня с борта «Прометея»…

— Да. Да… Конечно, только, видишь ли, здесь у нас некоторый… беспорядок…

— Вижу, — сказал я сухо. — Трудно этого не видеть.

Снаут обошёл вокруг меня, осматривая мой скафандр, самый обычный скафандр на свете с упряжью проводов и кабелей на груди. Несколько раз откашлялся. Потрогал свой костистый нос.

— Может, хочешь принять ванну?… Это тебя освежит. Голубые двери на противоположной стороне.

— Спасибо. Я знаю планировку Станции.

— Может, ты голоден?…

— Нет. Где Гибарян?

Он подошёл к окну, будто не слышал моего вопроса. Со спины он выглядел значительно старше. Коротко остриженные волосы были седыми, шея, сожжённая солнцем иссечена морщинами, глубокими, как шрамы. За окном поблёскивали огромные хребты волн, как будто океан застывал. Когда смотришь туда, появляется впечатление, что Станция двигается немного боком, как бы соскальзывая с невидимого основания. Потом она возвращалась в нормальное положение и снова, лениво наклоняясь, шла в другую сторону. Но это, очевидно, был обман зрения. Хлопья слизистой пены цвета крови собирались в провалах между волнами. Через мгновение я почувствовал тошноту.

— Слушай… — неожиданно начал Снаут. — Пока только я… — Он обернулся. Нервно потёр руки. — Тебе придётся довольствоваться моим обществом. Пока. Называй меня Хорёк. Ты знаешь меня только по фото, но это ничего, меня так все называют. Боюсь, что тут ничего не поделаешь.

— Где Гибарян? — упрямо спросил я.

Он заморгал.

— Мне очень жаль, что я тебя так принял. Это… не только моя вина. Совсем забыл, тут столько произошло, знаешь…

— Да брось, всё в порядке, — ответил я. — Оставь это. Так что же всё-таки с Гибаряном? Его нет на Станции? Он куда-нибудь улетел?

— Нет, — ответил Снаут, глядя в угол, заставленный катушками кабеля. — Он никуда не полетел. И не полетит. Потому что он…

— Что? — спросил я. У меня снова как будто заложило уши, и я стал хуже слышать. — Что ты хочешь сказать? Где он?

— Ты уже знаешь, — сказал Снаут совершенно другим тоном.

Он холодно смотрел мне а глаза. По коже у меня побежали мурашки. Может быть, Снаут и был пьян, но он знал, что говорит.

— Но ведь не произошло же?…

— Произошло.

— Несчастный случай?

Он кивнул. Он не только поддакивал, но одновременно изучал мою реакцию.

— Когда?

— Сегодня утром.

Удивительное дело, я не почувствовал потрясения. Весь этот обмен односложными вопросами

и ответами успокоил меня, пожалуй, своей деловитостью. Мне казалось, что я уже понимаю поведение Снаута.

— Как это случилось?

— Устраивайся, разбери вещи и возвращайся сюда… Ну, скажем, через час.

Мгновение я колебался.

— Хорошо.

— Обожди, — сказал Снаут, когда я повернулся к дверям. Он смотрел на меня как-то по-особенному. Видно было, что он никак не может выдавить из себя то, что хочет сказать.

— Нас было трое, и теперь с тобой снова трое. Ты знаешь Сарториуса?

— Так же, как тебя. По фотографии.

— Он в лаборатории, наверху, и не думаю, чтобы он вышел оттуда до ночи, но… во всяком случае ты его узнаешь. Если увидишь кого-нибудь другого, понимаешь, не меня и не Сарториуса, понимаешь, то…

— То что?

Мне казалось, что я всё вижу во сне. На фоне чёрных волн, кроваво поблёскивающих под низким солнцем, он сидел в кресле с опущенной головой и смотрел в угол смотанного кабеля.

— То… Не делай ничего.

— Кого я могу увидеть? Привидение?! — взорвался я.

— Понимаю. Думаешь, я сошёл с ума. Ещё нет. Не могу тебе сказать по-другому пока… В конце концов, может, ничего и не случится. Во всяком случае помни. Я тебя предостерегаю.

— От чего? О чём ты говоришь?

— Владей собой, — он упрямо говорил своё. — Поступай так, как будто… Будь готов ко всему. Это невозможно, я знаю. Но ты попробуй. Это единственный выход. Другого я не знаю.

— Но что я увижу? — Я, наверное, крикнул это. Я едва удерживался, чтобы не схватить Снаута за плечи и не встряхнуть его как следует, чтобы он не сидел вот так, уставившись в угол, с измученным, обожжённым солнцем лицом, с видимым усилием выдавливая из себя по одному слову.

— Не знаю. В некотором смысле это зависит от тебя.

— Галлюцинации?

— Нет. Это реально. Не… нападай. Помни.

— Что ты говоришь?! — Я не узнавал своего голоса.

— Мы не на Земле.

— Политерия. Но ведь это совершенно непохоже на людей! — Я не знал, как вырвать его из

этого кошмара, откуда он, казалось, вычитывал бессмыслицу, леденящую кровь.

— Именно оттого это так страшно, — сказал он тихо. — Помни — будь начеку!

— Что случилось с Гибаряном?

Он не отвечал.

— Что делает Сарториус?

— Приходи через час.

Я отвернулся и вышел. Отворяя двери, взглянул на Снаута ещё раз. Он сидел согнувшись, закрыв лицо руками. Только теперь я увидел, что костяшки пальцев у него покрыты запёкшейся кровью.

Соляристы

Круглый коридор был пуст. Мгновение я постоял перед закрытой дверью, прислушиваясь. Стены, наверно, были тонкими, снаружи проникал плач ветра. На двери, немного наискось, висел небрежно прикреплённый прямоугольный кусок пластыря с карандашной надписью «Человек». Неразборчиво нацарапанное слово вызвало у меня желание вернуться к Снауту, но я понял, что это невозможно.

Нелепое предостережение всё ещё звучало в ушах. Тихо, как будто бессознательно скрываясь от невидимого наблюдателя, я вернулся в круглое помещение с пятью дверями. На трёх из них висели таблички: «Д-р Гибарян», «Д-р Снаут», «Д-р Сарториус». На четвёртой — таблички не было. Поколебавшись, я нажал ручку. Пока дверь медленно открывалась, у меня появилось граничащее с уверенностью ощущение, что в комнате кто-то есть. Я вошёл внутрь.

В комнате никого не было. Выпуклое окно глядело в океан, который жирно блестел под солнцем, как будто с волн стекало красное масло.

Пурпурный отблеск наполнял комнату, похожую на корабельную каюту. У одной её стены стояли полки с книгами, между ними прикреплённая вертикально кровать в карданной подвеске. Между ними в никелированных рамках фотоснимки планеты. В металлических захватах торчали колбы и пробирки, заткнутые ватой. Под окном в два ряда стояли эмалированные ящики с инструментами. В углах комнаты — краны, вытяжной шкаф, холодильные установки, на полу стоял микроскоп, для него уже не было места на большом столе у окна.

Я обернулся и увидел около входной двери достигающий потолка шкаф с открытыми дверцами. В нём были комбинезоны, рабочие и защитные халаты, на полках — бельё, между голенищами противорадиационных сапог поблёскивали алюминиевые баллоны для переносных кислородных аппаратов. Два аппарата с масками висели на поручне поднятой кровати. Везде тот же кое-как упорядоченный хаос.

Я втянул воздух и почувствовал слабый запах химических реактивов. Машинально поискал глазами вентиляционные решётки. Прикреплённые к ним полоски бумаги легонько колебались, показывая, что компрессоры работают, поддер-

живая нормальный обмен воздуха. Я перенёс книги, аппараты и инструменты с двух кресел в углы, распихал всё это как попало, и вокруг постели, между шкафом и полками, образовалось относительно пустое пространство. Потом подтянул вешалку, чтобы повесить на неё скафандр, и уже взялся за замки-«молнии», но тут же их отпустил. Я никак не мог решиться снять скафандр, как будто от этого стал бы беззащитным. Ещё раз я окинул взглядом комнату. Дверь была плотно закрыта, но замка в ней не было, и после недолгого колебания я припёр её двумя самыми тяжёлыми ящиками.

Забаррикадировавшись так, я освободился от своей тяжёлой скрипящей оболочки. Узкое зеркало на внутренней поверхности шкафа отражало часть комнаты. Углом глаза я заметил какое-то движение, вскочил, но тут же понял, что это моё собственное отражение. Комбинезон под скафандром пропотел. Я сбросил его и толкнул шкаф. Он отъехал в сторону, и в нише за ним заблестели стены миниатюрной ванной комнаты. На полу под душем лежал довольно большой плоский ящик, который я с трудом втащил в комнату. Когда я ставил его на пол, крышка отскочила, как на пружине, и я увидел отделения, наби-

тые странными предметами. Ящик был полон страшно изуродованных инструментов из тёмного металла, немного похожих на те, которые лежали в шкафах. Все они никуда не годились, бесформенные, скрученные, оплавленные. Словно вынесенные из пожара. Самым удивительным было то, что повреждения такого же характера были даже на керамитовых, то есть практически не плавящихся рукоятках. Ни в одной лабораторной печи нельзя было получить температуру, при которой бы они плавились, разве что внутри атомного котла. Из кармана моего скафандра я достал портативный дозиметр, но чёрный зуммер молчал, когда я приблизил его к обломкам.

На мне были только купальные трусы и рубашка-сетка. Я скинул их на пол и пошёл под душ. Вода принесла облегчение. Я изгибался под потоками твёрдых горячих струй, массировал тело, фыркал и делал всё это как-то преувеличенно, как будто хотел вытравить из себя эту жуткую, наполненную подозрениями неуверенность, охватившую Станцию.

В шкафу я нашёл лёгкий тренировочный костюм, который можно было носить под скафандром, переложил в карман всё своё скромное имущество. Между листами блокнота я нащупал

что-то твёрдое, это был каким-то чудом попавший сюда ключ от моего земного жилья. Я повертел его в руках, не зная, что с ним делать, потом положил на стол. Мне пришло в голову, что неплохо бы иметь какое нибудь оружие. Универсальный перочинный нож был мало пригоден для этого, но ничего другого у меня не было, и я ещё не дошёл до такого состояния, чтобы искать какой-нибудь ядерный излучатель или что-нибудь в этом роде. Я уселся на металлический стульчик, который стоял посредине пустого пространства, в отдалении от всех вещей. Мне хотелось побыть одному. С удовольствием я отметил, что имею ещё полчаса времени. Стрелки на двадцатичетырёхчасовом циферблате показывали семь. Солнце заходило. Семь часов местного времени, значит, двадцать часов на борту «Прометея». На экранах Моддарда Солярис, наверно, уже уменьшился до размеров искорки и ничем не отличался от звёзд. Но какое я имею отношение к «Прометею»? Я закрыл глаза. Царила полная тишина, только в ванной капли воды тихо падали на кафель.

Гибарян мёртв. Если я хорошо понял Снаута, с момента его смерти прошло всего несколько часов.

Что сделали с его телом? Похоронили? Прав-

да, здесь, на Солярисе, этого сделать нельзя. Я обдумывал это некоторое время, будто судьба мёртвого была так уж важна. Поняв бессмысленность подобных размышлений, я встал и начал ходить по комнате, поддавая носком беспорядочно разбросанные книги. Потом поднял с пола фляжку из тёмного стекла, такую лёгкую, как будто она была сделана из бумаги. Посмотрел сквозь неё в окно, в мрачно пламенеющие, затянутые грязным туманом последние лучи заката. Что со мной? Почему я занимаюсь какими-то глупостями, какой-то ненужной ерундой?

Я вздрогнул — зажёгся свет. Очевидно, фотоэлементы отреагировали на наступающие сумерки. Я был полон ожидания, напряжение нарастало до такой степени, что я уже не мог чувствовать за собой пустое пространство. С этим нужно было кончать.

Я придвинул кресло к полкам, взял хорошо известный мне второй том старой монографии Хьюга и Эгла «История Соляриса» и начал её перелистывать, подперев толстый жёсткий переплёт коленом.

Солярис был открыт почти за сто лет до того, как я родился. Планета обращается вокруг двух солнц — красного и голубого. В течение сорока

с лишним лет к ней не приближался ни один космический корабль. В то время теория Гамова — Шепли о невозможности зарождения жизни на планетах двойных звёзд не вызывала сомнений. Орбиты таких планет непрерывно изменяются из-за непостоянства сил притяжения, вызванного взаимным обращением двух солнц.

Возникающие изменения гравитационного поля сокращают или растягивают орбиту планеты, и зародыши жизни, если они возникнут, будут уничтожены испепеляющим жаром или космическим холодом. Эти изменения происходят регулярно через несколько миллионов лет, то есть в астрономическом или биологическом масштабе за очень короткие промежутки времени, так как эволюция требует сотен миллионов, если не миллиардов лет.

Солярис, по предварительным подсчётам, должен был за пятьсот тысяч лет приблизиться на расстояние половины астрономической единицы к своему красному солнцу, а ещё через миллион лет упасть в его раскалённую бездну. Однако уже через несколько лет выяснилось, что орбита планеты не подвергается ожидаемым изменениям, как будто она была постоянной, такой же постоянной, как орбиты планет нашей

солнечной системы.

Были повторены, на этот раз с максимально возможной точностью, наблюдения и вычисления, которые лишь подтвердили, что уже было известно: Солярис имеет постоянную орбиту. И если до этого Солярис был всего-навсего одной из нескольких сотен ежегодно открываемых планет, которым в статистических сборниках уделялось по нескольку строчек, описывающих элементы их движения, то теперь он немедленно перешёл в ранг небесного тела, достойного самого пристального внимания.

Через четыре года после этого открытия планету облетела экспедиция Оттеншельда, который изучал Солярис с «Лаокоона» и двух вспомогательных космолётов. Эта экспедиция носила характер предварительной разведки, тем более что высадиться на планету она не могла. Учёные запустили большое количество автоматических спутников-наблюдателей на экваториальные и полярные орбиты. Главным заданием для спутников было измерение гравитационных потенциалов. Кроме того, были исследованы океан, почти целиком покрывающий планету, и немногочисленные возвышающиеся над его поверхностью плоскогорья. Их общая площадь

оказалась меньше, чем территория Европы, хотя Солярис имел диаметр на двадцать процентов больше земного. Эти лоскутки скалистой и пустынной суши, разбросанные как попало, скопились главным образом в южном полушарии. Был также определён состав атмосферы, лишённой кислорода, и произведены чрезвычайно точные измерения плотности планеты, альбедо и других астрономических показателей. Как и предполагалось, не было найдено никаких следов жизни ни на жалких клочках суши, ни в океане.

В течение дальнейших десяти лет Солярис, теперь уже находящийся в центре внимания всех наблюдателей этого района, демонстрировал поразительную тенденцию к сохранению своей, вне всяких сомнений, гравитационно нестабильной орбиты. Некоторое время дело пахло скандалом, так как вину за такие результаты наблюдений пытались возложить (в заботах о благе науки) то на определённых людей, то на вычислительные машины, которыми они пользовались.

Отсутствие средств задержало отправку специальной соляристической экспедиции ещё на три года, вплоть до того момента, когда Шеннон, укомплектовавший команду, получил от института три космических корабля тоннажа

«С» космодромного класса. За полтора года до прибытия экспедиции, которая вылетела с Альфы Водолея, другая исследовательская группа по поручению Института вывела на околосоляристическую орбиту автоматический сателлоид «Луна-247». Этот сателлоид после трёх последовательных реконструкций, отделённых друг от друга десятками лет, работает до сегодняшнего дня. Данные, которые он собрал, окончательно подтвердили выводы экспедиции Оттеншельда об активном характере движения океана.

Один космолёт Шеннона остался на дальней орбите, два других после предварительных приготовлений сели на скалистом клочке суши, который занимает около шестисот квадратных миль у южного полюса планеты. Работа экспедиции закончилась через восемнадцать месяцев и прошла очень успешно, за исключением одного несчастного случая, вызванного неисправностью аппаратуры. Однако учёные экспедиции раскололись на два враждующих лагеря. Предметом спора стал океан. На основании анализов он был признан органической материей (назвать его живым ещё никто не решался). Но если биологи видели в нём организм весьма примитивный, что-то вроде одной

чудовищно разросшейся жидкой клетки (они называли её «пребиологическая формация»), которая окружила всю планету студенистой оболочкой, местами глубиной в несколько миль, то астрономы и физики утверждали, что это должна быть чрезвычайно высокоорганизованная структура, которая сложностью своего строения превосходит земные организмы, коль скоро она в состоянии активно влиять на форму планетной орбиты. Никакой иной причины, объясняющей стабилизацию Соляриса, открыто не было. Кроме того, планетофизики установили связь между определёнными процессами, происходящими в плазменном океане, и локальными колебаниями гравитационного потенциала, которые зависели от «видоизменений океанической материи».

Таким образом, физики, а не биологи выдвинули парадоксальную формулировку «плазменная машина», имея в виду существо, в нашем понимании, возможно, и неживое, но способное к целенаправленным действиям в астрономическом масштабе.

В этом споре, который, как вихрь, втянул в течение нескольких недель все выдающиеся авторитеты, доктрина Гамова — Шепли пошатнулась впервые за восемьдесят лет.

Некоторое время её ещё пытались защищать, утверждая, что океан ничего общего с жизнью не имеет, что он даже не является образованием пара— или пребиологическим, а всего лишь геологической формацией, по всей вероятности, необычной, но способной лишь к стабилизации орбиты Соляриса посредством изменения силы тяжести: при этом ссылались на закон Ле Шателье.

Наперекор консерватизму появлялись другие гипотезы (например, одна из наиболее разработанных, гипотеза Чивита-Витты). Согласно этим гипотезам океан является результатом диалектического развития: от своего первоначального состояния, от праокеана — раствора слабо реагирующих химических веществ он сумел под влиянием внешних условий (то есть угрожающих его существованию изменений орбиты), минуя все земные ступени развития, минуя образование одно- и многоклеточных организмов, эволюцию растений и животных, перепрыгнуть сразу в стадию «гомеостатического» океана. Иначе говоря, — он не приспосабливался, как земные организмы, в течение сотен миллионов лет к условиям среды, чтобы только через такое длительное время дать начало разумной расе, но

стал хозяином среды сразу же.

Это было весьма оригинально, но никто не знал, как студенистый сироп может стабилизировать орбиту небесного тела. Уже давно были известны гравитаторы — установки, создающие искусственные силовые и гравитационные поля. Но никто не представлял себе, каким образом какое-то бесформенное желе может добиться результата, который в гравитаторах достигался с помощью сложных ядерных реакций и высоких температур. В газетах, которые, к удовольствию читателей и негодованию учёных, захлёбывались тогда нелепейшими вымыслами на тему «тайны Соляриса», например, писали, что планетарный океан является… дальним родственником земных электрических угрей.

Как показали исследования, океан действовал совсем не по тому принципу, который использовался в наших гравитаторах (впрочем, это было невозможно). Он непосредственно моделировал кривую пространства-времени, что приводило, скажем, к отклонениям в изменении времени на одном и том же меридиане планеты. Следовательно, океан не только представлял себе, но и мог (чего нельзя сказать о нас) использовать выводы теории Эйнштейна-Бови.

Когда это стало известно, в научном мире возникла одна из сильнейших бурь нашего столетия. Самые почётные, повсеместно признанные непоколебимыми теории рассыпались в пыль, в научной литературе появились совершенно еретические статьи, альтернатива же «гениальный океан» или «гравитационное желе» распалила умы.

Всё это происходило за много лет до моего рождения. Когда я ходил в школу, Солярис в связи с установленными позднее фактами был признан планетой, которая наделена жизнью, но имеет только одного жителя.

Второй том Хьюга и Эгла, который я перелистывал совершенно машинально, начинался с систематики, столь же оригинальной, сколь и забавной. Классификационная таблица представляла в порядке очереди: тип — Политерия, класс — Метаморфа, отряд — Синциталия. Будто мы знали бог весть сколько экземпляров этого вида, тогда как на самом деле существовал лишь один, правда, весом в семнадцать миллионов тонн.

Под пальцами у меня шелестели цветные диаграммы, чертежи, анализы, спектрограммы. Чем больше углублялся я в потрёпанный фолиант, тем больше математических формул мелькало на

мелованных страницах. Можно было подумать, что наши сведения об этом представителе класса Метаморфа, который лежал скрытый темнотой ночи в нескольких метрах под стальным днищем станции, являются исчерпывающими.

Я с треском поставил увесистый том на полку и взял следующий. Он делился на две части. Первая была посвящена изложению экспериментальных протоколов бесчисленных опытов, целью которых было установление контакта с океаном. Это установление контакта служило источником бесконечных анекдотов, насмешек и острот в мои студенческие годы. Средневековая схоластика казалась прозрачной, сверкающей истиной по сравнению с теми джунглями, которые породила эта проблема.

Первые попытки установления контакта были предприняты при помощи специальных электронных аппаратов, трансформирующих импульсы, посылаемые в обе стороны, причём океан принимал активное участие в работе этих аппаратов. Но всё это делалось в полной темноте. Что значило — принимал участие? Океан модифицировал некоторые элементы погружённых в него установок, в результате чего записанные ритмы импульсов изменялись, регистрирующие

приборы фиксировали множество сигналов, похожих на обрывки гигантских выкладок высшего анализа. Но что всё это значило? Может быть, это были сведения о мгновенном состоянии возбуждения океана? Может быть, переложенные на неведомый электронный язык отражения земных истин этого океана? Может быть, его произведения искусства? Может быть, импульсы, вызывающие появление его гигантских образований, возникают где-нибудь в тысяче миль от исследователя? Кто мог знать это, коль скоро не удалось получить дважды одинаковой реакции на один и тот же сигнал! Если один раз ответом был целый взрыв импульсов, чуть не уничтоживший аппараты, а другой — глухое молчание! Если ни одно исследование невозможно было повторить!

Всё время казалось, что мы стоим на шаг от расшифровки непрерывно увеличивающегося моря записей; специально для этого строились электронные мозги с такой способностью перерабатывать информацию, какой не требовала до сих пор ни одна проблема. Действительно, были достигнуты определённые результаты. Океан — источник электрических, магнитных, гравитационных импульсов — говорил как бы языком

математики; некоторые типы его электрических разрядов можно было классифицировать, пользуясь наиболее абстрактными методами земного анализа, теории множеств, удалось выделить гомологи структур, известных из того раздела физики, который занимается выяснением взаимосвязи энергии и материи, конечных и бесконечных величин, частиц и полей. Всё это склоняло учёных к выводу, что перед ними мыслящее существо, что-то вроде гигантски разросшегося, покрывшего целую планету протоплазменного моря-мозга, которое тратит время на неестественные по своему размаху теоретические исследования сути всего существующего, а то, что выхватывают наши аппараты, составляет лишь оборванные, случайно подслушанные обрывки этого, продолжающегося вечно в глубинах океана, перерастающего всякую возможность нашего понимания, гигантского монолога.

Одни расценивали такие гипотезы как выражение пренебрежения к человеческим возможностям, как преклонение перед чем-то, чего мы ещё не понимаем, но что можно понять как воскрешение старой доктрины «ignoramus et ignorabimus» (Не знаем и не узнаем). Другие считали, что это вредные и бесплодные небылицы, что в ги-

потезах математиков проявляется мифология нашего времени, видящая в гигантском мозге — безразлично, электронном или плазменном — наивысшую цель существования — итог бытия.

Другие ещё… но исследователей и теорий были легионы. Впрочем, кроме «установления контакта» существовали и другие проблемы… Были отрасли соляристики, в которых специализация зашла так далеко, особенно на протяжении последней четверти столетия, что солярист-кибернетик почти не мог понять соляриста-симметриадолога. «Как можете вы понять океан, если уже не в состоянии понять друг друга?» — спросил однажды шутливо Вейбек, который был в мои студенческие годы директором Института. В этой шутке было много правды.

Всё же океан не случайно был отнесён к классу Метаморфа. Его волнистая поверхность могла давать начало самым различным, ни на что земное не похожим формам, причём цель — приспособительная, познавательная или какая-либо иная — этих иногда весьма бурных извержений плазменной массы была полнейшей загадкой.

Поставив тяжёлый том на место, я подумал, что наши сведения о Солярисе, наполняющие библиотеки, являются бесполезным балластом

и кладбищем фактов и что мы топчемся на том же самом месте, где начали их нагромождать семьдесят восемь лет назад. Точнее, ситуация была гораздо хуже, потому что труд всех этих лет оказался напрасным.

То, что мы знали наверняка, относилось только к области отрицания. Океан не пользовался механизмами и не строил их, хотя в определённых обстоятельствах, возможно, был способен к этому. Так, он размножал части некоторых погружённых в него аппаратов, но делал это только в первый и второй годы исследовательских работ, а затем игнорировал все наши настойчиво возобновляемые попытки, как будто утратил всякий интерес к нашим аппаратным устройствам (а следовательно, и к нам самим). Океан не обладал — я продолжаю перечисление наших «негативных сведений» — никакой нервной системой, ни клетками, ни структурами, напоминающими белок; не всегда реагировал на раздражения, даже наимощнейшие (так, например, он полностью игнорировал катастрофу вспомогательной ракеты второй экспедиции Гезе, которая рухнула с высоты трёхсот километров на поверхность планеты, уничтожив взрывом своих атомных двигателей плазму в радиусе полутора миль).

Постепенно в научных кругах «операция Солярис» начала звучать как «операция проигранная», особенно в сферах научной администрации Института, где в последние годы всё чаще раздавались голоса, требующие прекращения дотаций на дальнейшие исследования. О полной ликвидации станции до сих пор никто говорить не осмеливался, это было бы слишком явным признанием поражения. Впрочем, некоторые в частных беседах говорили, что всё, что нам нужно, это наиболее «почётное» устранение от «аферы Солярис».

Для многих, однако, особенно молодых, «афера» эта постепенно становилась чем-то вроде пробного камня собственной ценности. «В сущности, — говорили они, — речь идёт о ставке гораздо большей, чем изучение соляристической цивилизации, речь идёт о нас самих, о границе человеческого познания».

В течение некоторого времени было популярно мнение (усердно распространяемое ежедневной прессой), что мыслящий Океан, который омывает весь Солярис, является гигантским мозгом, перегнавшим нашу цивилизацию в своём развитии на миллионы лет, что это какой-то «космический йог», мудрец, олицетворение всезнания, который

уже давно понял бесполезность всякой деятельности и поэтому сохраняет (по отношению к нам) категорическое молчание.

Это была просто неправда, потому что живой океан действовал, и ещё как, только в соответствии с иными, чем людские, представлениями, не строя ни городов, ни мостов, ни летательных машин, не пробуя также победить пространство или перешагнуть его (в чём некоторые защитники превосходства человека любой ценой усматривали бесценный для нас козырь), но занимаясь зато тысячекратными преобразованиями — «онтологической автометаморфозой», — чего-чего, а учёных терминов хватало на страницах соляристических трудов.

С другой стороны, у человека, упорно вчитывающегося во всевозможные солярианы, создавалось впечатление, что перед ним обломки интеллектуальных конструкций, возможно гениальных, перемешанные без всякой системы с плодами полного, граничащего с сумасшествием идиотизма. Отсюда выросла как антитеза концепции об «океане-йоге» мысль об «океане-дебиле». Эти гипотезы подняли из гроба и оживили одну из старейших философских проблем — взаимоотношения материи и духа, сознания. Необходима

была большая смелость, чтобы первому — как де Хаарт — приписать океану сознание. Эта проблема, поспешно признанная метафизической, тлела на дне всех дискуссий и споров. Возможно ли мышление без сознания? Можно ли возникающие в океане процессы назвать мышлением? Гору — очень большим камнем? Планету — огромной горой? Можно пользоваться этими названиями, но новая величина выводит на сцену новые закономерности и новые явления.

Проблема Соляриса стала квадратурой круга нашего времени. Каждый самостоятельный мыслитель старался внести в сокровищницу соляристики свой вклад: множились теории, гласящие, что перед нами продукт дегенерации, регресса, который наступил после минувшей фазы «интеллектуального великолепия» океана, что океан в самом деле новообразование, которое, зародившись в телах древних обитателей планеты, уничтожило и поглотило их, сплавляя остатки в структуру вечно живущего, самоомолаживающегося сверхклеточного организма.

…В белом, похожем на земной свете ламп я снял со стола аппараты и книги и разложил на пластмассовой крышке карту Соляриса. Живой океан имел свои отмели и глубочайшие впадины, а его

острова были покрыты налётом выветрившихся пород, свидетельствующих о том, что когда-то острова были океанским дном. Возможно, океан регулировал появление и исчезновение скальных формаций, погружённых в его лоно. Опять полная темнота. Я смотрел на огромное, раскрашенное разными оттенками фиолетового и голубого цветов полушарие на карте, испытывая, не знаю уж который раз в жизни, изумление, такое же потрясающее, как то, первое, которое я ощутил, когда ещё мальчишкой впервые услышал в школе о существовании Соляриса.

Не знаю почему, но всё, что меня окружало, — тайна смерти Гибаряна, даже неизвестное мне будущее, — всё казалось сейчас неважным, и я не думал об этом, погружённый в удивительную карту.

Отдельные области живой планеты носили имена исследовавших их учёных. Я рассматривал омывающее экваториальные архипелаги море Гексалла, когда почувствовал чей-то взгляд.

Я ещё стоял над картой, парализованный страхом, но уже не видел её. Дверь была прямо против меня; она была припёрта ящиками и придвинутым к ним шкафчиком. «Это какой-нибудь автомат», — подумал я, хотя ни одного автомата

перед этим в комнате не было и он не мог войти незаметно для меня. Кожа на шее и спине стала горячей, ощущение тяжёлого, неподвижного взгляда становилось невыносимым. Не отдавая себе в этом отчёта, инстинктивно втягивая голову в плечи, я всё сильнее опирался на стол, который начал медленно ползти по полу. От этого движения я пришёл в себя. Я стремительно обернулся.

Позади никого не было. Только зияло чернотой большое полукруглое окно. Но странное ощущение не исчезало. Эта темнота смотрела на меня, бесформенная, огромная, безглазая, не имеющая границ. Её не освещала ни одна звезда. Я задёрнул шторы. Я не был на Станции ещё и часа, но уже начинал понимать, почему у её обитателей появилась мания преследования. Инстинктивно я связывал это со смертью Гибаряна. Я знал его и думал до сих пор, что ничто не могло бы помутить его разум. Теперь эта уверенность исчезла.

Я стоял посреди комнаты у стола. Дыхание успокоилось и я чувствовал, как испаряется пот, выступивший у меня на лбу. О чём это я только что думал? Ах да, об автоматах. Странно, что я не встретил ни одного из них ни в коридоре, ни в комнатах. Куда они все подевались? Единственный, с которым я столкнулся, да и то на

расстоянии, принадлежал к системе обслуживания ракетодрома. А другие?…

Я посмотрел на часы. Пора идти к Снауту.

Коридор был освещён слабо. Я прошёл две двери и остановился у той, на которой виднелось имя Гибаряна. Я нажал ручку. У меня не было намерения заходить туда, но ручка поддалась, дверь приоткрылась, щель мгновение была чёрной, потом в комнате вспыхнул яркий свет. Теперь меня мог увидеть каждый, кто шёл по коридору. Я быстро юркнул в комнату, бесшумно, но с силой захлопнул за собой дверь и сразу же обернулся.

Я стоял, касаясь спиной двери. Комната была больше той… моей. Панорамное окно на три четверти было закрыто несомненно привезённой с Земли, не относящейся к снаряжению Станции занавеской в мелкие голубые и розовые цветочки. Вдоль стен тянулись библиотечные полки и стеллажи, покрытые серебристо-зелёной эмалью. Содержимое их, беспорядочно вываленное на пол, громоздилось между креслами. Прямо передо мной, загораживая проход, валялись два стула, наполовину зарытые в кучу журналов, высыпавшихся из разорвавшихся папок. Растерзанные книги были залиты жидкостями из разбитых колб и бутылок с такими толстыми стенками, что

было непонятно, каким образом они разбились, даже если упали на пол с большой высоты. Под окном лежало перевёрнутое бюро с разбитой рабочей лампой на выдвижном кронштейне; рядом валялась табуретка, две ножки которой были всажены в наполовину выдвинутые ящики бюро. Пол был покрыт слоем карточек, исписанных листков и других бумаг. Я узнал почерк Гибаряна и наклонился. Поднимая листки, я увидел, что моя рука отбрасывает две тени.

Я обернулся. Розовая занавеска пылала, как будто подожжённая сверху, чёткая полоса, голубого огня стремительно расширялась. Я отдёрнул занавеску, и в глаза ударило пламя гигантского пожара, который занимал треть горизонта. Волны длинных густых теней стремительно неслись к Станции. Это был рассвет. Станция находилась в зоне, где после часовой ночи на небо всходило второе, голубое солнце планеты.

Автоматический выключатель погасил лампы, и я вернулся к разбросанным бумагам. Перебирая их, я наткнулся на краткий план опыта, который должен был состояться три недели назад. Гибарян собирался подвергнуть плазму действию очень жёсткого рентгеновского излучения. По тексту я понял, что план предназначен для Сарториуса,

который должен был провести эксперимент, — у меня в руках была копия.

Белые листы бумаги начинали меня раздражать. День, который наступил, был не таким, как прежний. Под оранжевым небом остывающего солнца чернильный океан с кровавыми отблесками почти всегда покрывала грязно-розовая мгла, которая объединяла в одно целое тучи и волны. Теперь всё это исчезло. Даже профильтрованный розовой тканью занавески свет пылал, как горелка мощной кварцевой лампы. Загар моих рук казался в нём почти серым. Вся комната изменилась, всё, что имело красный оттенок, побронзовело и поблёкло, все белые, зелёные, жёлтые предметы, наоборот, стали резче и, казалось, излучали собственный свет. Я закрыл глаза и на ощупь прошёл в ванную. Там на полочке нашёл тёмные очки и только теперь, надев их, мог продолжать чтение.

Это были протоколы проведённых исследований. Из них я узнал, что океан был подвергнут облучению в течение четырёх дней в пункте, находящемся на тысячу четыреста миль северо-восточнее теперешнего положения Станции. Это меня поразило, так как использование рентгеновского излучения было запрещено конвенцией

ООН в связи с его вредным действием. И я был совершенно уверен, что никто не обращался на Землю с просьбой разрешить подобные эксперименты.

Становилось жарко. Комната, пылающая белым и голубым, выглядела неестественной. Но вот послышался скрежет, и снаружи на окно наползли герметические заслонки. Стало темно, затем зажёгся электрический свет, показавшийся мне удивительно бледным.

Однако жара не уходила. Пожалуй, она даже увеличилась, хотя холодильники Станции, судя по гудению климатизаторов, работали на полную мощность.

Вдруг я услышал звук шагов. Кто-то шёл по коридору. В два прыжка я оказался у двери. Шаги замедлились. Тот, кто шёл, остановился у дверей. Ручка тихонько повернулась. Не раздумывая, инстинктивно, я схватил и задержал. Нажим не усиливался, но и не ослабевал. Тот, с другой стороны, старался делать всё так же бесшумно, как я. Некоторое время мы оба держали ручку. Потом я почувствовал, что она ослабла, и услышал лёгкий шелест — тот уходил. Я постоял ещё, прислушиваясь, но было тихо.

Гости

Я поспешно сложил вчетверо и спрятал в карман записи Гибаряна. Осторожно подошёл к шкафу и заглянул внутрь. Одежда была скомкана и втиснута в один угол, как будто в шкафу кто-то прятался. Из кучи бумаг, сваленных внизу, выглядывал уголок конверта. Я взял его. Письмо было адресовано мне. У меня вдруг пересохло горло.

С большим трудом я заставил себя разорвать конверт и достать из него маленький листок бумаги.

Своим чётким и очень мелким почерком Гибарян записал:

«Ann. Solar. Vol. 1. Anex, также Vot. Separat Мессенджера в деле F; „Малый Апокриф“ Равинтцера».

И всё, ни одного слова больше. Записка носила след спешки. Было ли это какое-нибудь важное сообщение? Когда он её написал? Нужно как можно скорее идти в библиотеку. Приложение к первому Соляристическому ежегоднику было мне известно, точнее, я знал о его существовании, но никогда не видел; оно представляло чисто ис-

торический интерес. Однако ни о Равинтцере, ни о его «Малом Апокрифе» я никогда не слышал.

Что делать?

Я уже опаздывал на четверть часа. Подойдя к двери, ещё раз оглядел комнату и только теперь заметил прикреплённую к стене складную кровать, которую заслоняла развёрнутая карта Соляриса. За картой что-то висело. Это был карманный магнитофон в футляре. Я вынул аппарат, футляр повесил на место, а магнитофон сунул в карман, убедившись по счётчику, что лента использована до конца.

Ещё секунду постоял у двери с закрытыми глазами, напряжённо вслушиваясь в тишину. Ни звука. Я осторожно отворил дверь. Коридор показался мне чёртовой бездной. Я снял тёмные очки и увидел слабый свет потолочных ламп. Закрыв за собой дверь, я пошёл налево, к радиостанции.

Круглая камера, от которой, как спицы колеса, расходились во все стороны коридоры, была уже совсем близко, когда, минуя какой-то узкий боковой проход, ведущий, как мне показалось, к ванным, я увидел большую, неясную, почти сливающуюся с полумраком фигуру.

Я замер. Из глубины коридора не спеша, по-утиному покачиваясь, шла огромная негритянка. Я

увидел блеск её белков и почти одновременно услышал мягкое шлёпанье босых ног. На ней не было ничего, кроме жёлтой, блестящей, как будто сплетённой из соломы, юбки. Она прошла мимо меня на расстоянии метра, даже не посмотрев в мою сторону, покачивая слоновьими бёдрами, похожая на гигантские скульптуры каменного века, которые можно увидеть в антропологических музеях. Там, где коридор поворачивал, негритянка остановилась и открыла дверь кабины Гибаряна. На мгновение она очутилась в полосе яркого света, падавшего из кабины, потом дверь закрылась, и я остался один. Правой рукой я вцепился в кисть левой и стиснул её так, что хрустнули кости; бессмысленно огляделся вокруг. Что случилось? Что это было? Внезапно, как будто меня ударили, я вспомнил предостережение Снаута. Что всё это могло значить? Кто была эта чёрная Афродита? Откуда она взялась?

Я сделал шаг, только один шаг и сторону кабины Гибаряна и остановился. Я слишком хорошо знал, что не войду туда.

Не знаю, долго ли я простоял так, опершись о холодящий металл стены. Станцию наполняла тишина, и лишь монотонно шумели компрессоры климатических установок.

Я похлопал себя по щеке и медленно пошёл на радиостанцию. Взявшись за ручку двери, услышал резкий голос Снаута:

— Кто там?

— Это я, Кельвин.

Снаут сидел за столом между кучей алюминиевых коробок и пультов передатчика и прямо из банки ел мясные консервы. Не знаю, почему он выбрал для жилья радиостанцию. Я тупо стоял у двери, глядя на его мерно жующие челюсти, и вдруг почувствовал, что очень голоден. Подойдя к полке, я взял из стопки тарелок наименее грязную и уселся напротив него.

Некоторое время мы ели молча, потом Снаут встал, вынул из стенного шкафа термос и налил в чашки горячий бульон. Ставя термос на пол — на столе уже не было места, — он спросил:

— Видел Сарториуса?

— Нет. А где он?

— Наверху.

Наверху была лаборатория. Мы продолжали есть молча, только скрежетали опустошаемые банки. На радиостанции царила ночь. Окно было тщательно завешено изнутри, под потолком горели четыре круглых светильника. Их отражения дрожали в пластмассовом корпусе передатчика.

Я посмотрел на Снаута. На нём был чёрный просторный довольно потрёпанный свитер. Натянувшаяся на скулах кожа вся в красных прожилках.

— С тобой что-нибудь случилось? — спросил Снаут.

— Нет. А что со мной могло случиться?

— Ты весь мокрый.

Я вытер рукой лоб и почувствовал, что буквально обливаюсь потом. Это была реакция. Снаут смотрел на меня изучающе. Сказать ему? Хотелось бы, чтобы он мне больше доверял. Кто с кем здесь играет и в какую игру?

— Жарко, — сказал я. — Мне казалось, что климатические установки работают у вас лучше.

— Скоро всё придёт в норму. Ты уверен, что это только от жары? — Он поднял на меня глаза.

Я сделал вид, что не замечаю этого.

— Что собираешься делать? — прямо спросил Снаут, когда мы кончили есть.

Он свалил всю посуду и пустые банки в умывальник и вернулся в своё кресло.

— Присоединяюсь к вам. У вас есть какой-нибудь план исследований? Какой-нибудь новый стимулятор, рентген или что-нибудь в этом роде. А?

— Рентген? — брови Снаута поднялись. — Где ты об этом слышал?

— Не помню… Мне кто-то говорил, Может быть, на «Прометее». А что? Уже применяете?

— Я не знаю подробностей. Это была идея Гибаряна. Он начал с Сарториусом… Но откуда ты можешь об этом знать?

Я пожал плечами:

— Не знаешь подробностей? Ты ведь должен был в этом участвовать, это входит в твои… — Я не кончил и замолчал.

Шум климатизаторов утих, температура держалась на сносном уровне.

Снаут встал, подошёл к пульту управления и начал для чего-то поворачивать ручки. Это было бессмысленно, главный выключатель находился в нулевом положении. Немного погодя он, даже не повернувшись ко мне, заметил:

— Нужно будет выполнить все формальности в связи с этим…

— Да?

Он обернулся и с бешенством взглянул на меня. Не могу сказать, что умышленно старался вывести его из равновесия. Ничего не понимая в игре, которая здесь велась, я стремился держаться сдержанно. Его острый кадык ходил над чёрным

воротником свитера.

— Ты был у Гибаряна, — сказал вдруг Снаут.

Это не был вопрос. Подняв брови, я спокойно смотрел ему в лицо.

— Был в его комнате, — повторил он.

Я сделал движение головой, как бы говоря: «Предположим. Ну и что?» Пусть он говорит дальше.

— Кто там был?

Он знал о ней!!!

— Никто. А кто там мог быть? — спросил я.

— Почему же ты меня не впустил?

Я усмехнулся:

— Испугался. Ты сам меня предостерегал, и, когда ручка повернулась, я инстинктивно задержал её. Почему ты не сказал, что это ты? Я бы тебя впустил.

— Я думал, что это Сарториус, — сказал он неуверенно.

— Ну и что?

— Что ты думаешь об этом… о том, что произошло? — ответил он вопросом на вопрос.

Я заколебался.

— Ты должен знать больше, чем я. Где он?

— В холодильнике, — ответил Снаут тотчас же. — Мы перенесли его сразу же… утром… жара…

— Где вы его нашли?

— В шкафу.

— В шкафу? Он был уже мёртвым?

— Сердце ещё билось, но дыхания не было. Это была агония.

— Пробовали его спасти?

— Нет.

— Почему?

Снаут помедлил.

— Не успели. Умер прежде, чем мы его уложили.

— Он стоял в шкафу? Между комбинезонами?

— Да.

Снаут подошёл к маленькому бюро, стоявшему в углу, взял лежавший на нём лист бумаги и положил его передо мной.

— Я написал такой предварительный протокол. Это даже хорошо, что ты осмотрел его комнату. Причина смерти… укол смертельной дозы перностала. Так тут написано…

Я пробежал глазами короткий текст.

— Самоубийство… — повторил я тихо. — А причина?

— Нервное расстройство… депрессия… или как это ещё называется. Ты знаешь об этом лучше, чем я.

— Я знаю только то, что вижу сам, — ответил я и посмотрел на него снизу.

— Что ты хочешь сказать? — спросил он спокойно.

— Гибарян сделал себе укол перностала и спрятался в шкаф. Так? Если так, то это не депрессия, не расстройство, а острый психоз. Паранойя… Ему, наверное, казалось, что он что-нибудь видит… — говорил я всё медленнее, глядя ему в глаза.

Он отошёл от меня к пульту передатчика и снова начал крутить ручки.

— Тут твоя подпись, — заметил я после недолгого молчания. — А Сарториус?

— Он в лаборатории. Я уже говорил. Не появляется. Думаю…

— Что?

— Что он заперся.

— Заперся? О, заперся! Вот как! Может быть, забаррикадировался?

— Возможно.

— Снаут… На станции кто-нибудь есть?

— Ты видел?

Он смотрел на меня, слегка наклонившись.

— Ты предостерегал меня. От чего? Это галлюцинация?

— Что ты видел?

— Это человек, да?

Снаут молчал. Он отвернулся к стене, как будто не хотел, чтобы я видел его лицо, и барабанил пальцами по металлической перегородке. Я посмотрел на его руки. На них уже не было следов крови. Вдруг меня осенило.

— Эта особа реальна, — сказал я тихо, почти шёпотом, как бы открывая тайну, которую могли подслушать. — Да? До неё можно дотронуться. Можно её ранить… Последний раз ты видел её сегодня.

— Откуда ты знаешь?

Он не повернулся. Стоял у самой стены, касаясь её грудью.

— Перед тем как я прилетел? Совсем незадолго?…

Снаут сжался как от удара. Я увидел его безумные глаза.

— Ты?!! — выкрикнул он. — Кто ТЫ такой?

Казалось, он сейчас бросится на меня. Этого я не ожидал. Всё шло кувырком. Он не верил, что я тот, за кого себя выдаю. Что это могло значить? Снаут смотрел на меня с ужасом. Что это, психоз? Отравление? Всё было возможно. Но ведь я видел её, эту фигуру… Может быть, и я сам тоже…

— Кто это был?

Эти слова успокоили его. Некоторое время он смотрел на меня испытующе, как будто ещё не доверял мне. Прежде чем он открыл рот, я понял, что попытка неудачна и что он не ответит мне.

Снаут медленно сел в кресло и стиснул голову руками.

— Что здесь происходит?... — сказал он тихо. — Горячка...

— Кто это был? — снова спросил я.

— Если ты не знаешь... — буркнул он.

— То что?

— Ничего.

— Снаут, — сказал я, — мы достаточно далеко от дома. Давай в открытую. И так всё запутано.

— Чего ты хочешь?

— Чтобы ты сказал, кого видел.

— А ты?... — спросил он подозрительно.

— Хитришь? Сказать тебе, и ты скажешь мне. Можешь не беспокоиться. Я тебя не буду считать сумасшедшим, знаю...

— Сумасшедшим! О господи! — Он попытался засмеяться. — Но ведь ты же ничего, совсем ничего... Это было бы избавлением... Если бы он хоть на секунду поверил, что это сумасшествие, он бы не сделал этого, он бы жил...

— Значит, то, что написано в протоколе о нервном расстройстве, — ложь?

— Конечно.

— Почему же ты написал неправду?

— Почему? — повторил он.

Наступило молчание. Снова я был в тупике и ничего не понимал. А мне уже казалось, что я убедил его и мы вместе атакуем эту тайну. Почему, почему он не хотел говорить?!

— Где автоматы? — спросил я.

— На складах. Мы закрыли их все, кроме тех, которые обслуживают полёты.

— Почему?

Он снова не ответил.

— Не скажешь?

— Не могу.

В этом было что-то, чего я никак не мог ухватить. Может быть, пойти наверх к Сарториусу? Вдруг я вспомнил записку и подумал, что сейчас это самое главное.

— Как ты себе представляешь дальнейшую работу в таких условиях?

Снаут пожал плечами:

— Какое это имеет значение?

— Ах, так? И что ты намерен делать?

Он молчал. В тишине было слышно шлёпанье

босых ног. Среди никелированных и пластмассовых аппаратов высоких шкафов с электронной аппаратурой, точнейших приборов эта шлёпающая разболтанная походка казалась дикой шуткой не совсем нормального человека. Шаги приближались. Я стал напряжённо всматриваться в Снаута. Он прислушивался, зажмурив глаза, но совсем не выглядел испуганным. Значит, он боялся не её?!

— Откуда она взялась? — спросил я.

Снаут молчал.

— Не хочешь сказать?

— Не знаю.

— Ладно.

Шаги удалились и затихли.

— Ты мне не веришь? — спросил Снаут. — Даю слово, что не знаю.

Я молча отворил шкаф со скафандрами и начал раздвигать их тяжёлые пустые оболочки. Как я и ожидал, в глубине на крюках висели газовые пистолеты, которыми пользуются для передвижения в состоянии невесомости. Как оружие они стоили немного, но выбора не было. Лучше такое, чем ничего. Я проверил зарядное устройство и перекинул через плечо ремень футляра.

Снаут внимательно следил за мной. Когда я

регулировал длину ремня, он язвительно усмехнулся, показав жёлтые зубы.

— Счастливой охоты!

— Спасибо за всё, — ответил я, идя к двери.

Он вскочил со стула.

— Кельвин.

Я посмотрел на него. Усмешки уже не было. Не знаю, видел ли я когда-нибудь такое измученное лицо.

— Кельвин, это не… Я… правда не могу, — с трудом проговорил он.

Я ждал, что он скажет ещё что-нибудь, но он только шевелил губами, как будто старался выдавить из себя слова.

Я молча повернулся и вышел.

Сарториус

Коридор был пуст. Сначала он шёл прямо, потом поворачивал направо. Я никогда не был на Станции, но во время предварительной тренировки шесть недель жил в точной её копии, находящейся в Институте на Земле. Я знал, куда ведёт лесенка с алюминиевыми ступеньками.

В библиотеке было темно. На ощупь я нашёл выключатель. Когда я отыскал в картотеке первый том Соляристического ежегодника вместе с приложением и нажал кнопку, загорелась красная лампочка. Проверил в регистраторе — книга находилась у Гибаряна, так же как и другая — этот «Малый Апокриф». Я погасил свет и вернулся вниз. Я боялся войти в его кабину: она могла туда вернуться. Некоторое время я стоял у двери, потом, стиснув зубы, превозмог страх и вошёл.

В освещённой комнате никого не было. Я начал перебирать книги, лежавшие на полу у окна, потом подошёл к шкафу и закрыл его. Я не мог смотреть на эту пустоту между комбинезонами.

Под окном приложения не было. Я методично перекладывал книгу за книгой и, наконец, до-

бравшись до последней пачки, лежавшей между кроватью и шкафом, обнаружил нужный том.

Я надеялся найти в нём какую-нибудь пометку, и действительно, в именном указателе лежала закладка. Красным карандашом на ней было записано имя, которое мне ничего не говорило: Андре Бертон. В книге оно встречалось дважды. Сначала я отыскал первое упоминание о нём и узнал, что Бертон был резервным пилотом на корабле Шеннона. Следующее упоминание было на сто с лишним страниц дальше.

Первое время высадки экспедиция действовала чрезвычайно осторожно, однако, когда через шестнадцать дней выяснилось, что плазменный океан не только не проявляет никаких признаков агрессивности, но отступает перед каждым приближающимся к его поверхности предметом и всячески избегает непосредственного контакта с какими-либо аппаратами и людьми, Шеннон и его заместитель Тимолис отменили некоторые правила безопасности, так как это страшно затрудняло и замедляло проведение работ.

Экспедиции была разбита на маленькие группы по два-три человека, которые проводили полёты над океаном на расстоянии иногда в несколько сотен миль. Использовавшиеся рань-

ше в качестве защиты излучатели, окружавшие территорию работ, были стянуты на Базу. Первые четыре дня после этих изменений прошли без всяких происшествий, если не считать случавшихся время от времени поломок кислородной аппаратуры скафандров, так как выходные клапаны оказались очень чувствительными к коррозирующему действию ядовитой атмосферы. В связи с этим их приходилось заменять почти ежедневно.

На пятый день, или на двадцать первый, если считать от момента высадки, двое учёных, Каруччи и Фехнер (первый был радиобиологом, а второй — физиком), проводили исследовательский полёт над океаном в небольшом двухместном аэромобиле. Это был не летательный аппарат, а глиссер, передвигающийся на подушке сжатого воздуха.

Когда через шесть часов они не вернулись, Тимолис, который руководил Базой в отсутствие Шеннона, объявил тревогу и выслал всех свободных людей на поиски.

По несчастному стечению обстоятельств радиосвязь в этот день примерно через час после вылета исследовательских групп перестала действовать. Причиной было большое пятно на красном

солнце, излучавшее мощные корпускулярные потоки, достигавшие верхних слоёв атмосферы. Действовали только ультракоротковолновые аппараты, которые позволяли поддерживать связь на расстоянии около двухсот миль. В довершение всего перед заходом солнца спустился туман, и поиски пришлось прекратить.

И только когда спасательные группы уже возвращались на Базу, одна из них на расстоянии восьмидесяти миль от берега наткнулась на аэромобиль. Двигатель работал, и совершенно исправная машина висела над волнами. В прозрачной кабине находился только Каруччи. Он был без сознания.

Аэромобиль был доставлен на Базу, и Каруччи поручили заботам медиков. В тот же вечер он пришёл в себя. О судьбе Фехнера Каруччи ничего не мог сказать. Помнил только, что, когда они уже решили возвращаться, он почувствовал удушье. Дыхательный клапан заклинился, и внутрь скафандра при каждом вдохе проникала небольшая порция ядовитых газов.

Фехнер, пытаясь исправить его аппарат, вынужден был отстегнуть ремни и встать. Это было последнее, что помнил Каруччи. Возможный ход событий, по мнению специалистов, был таким.

Исправляя аппарат Каруччи, Фехнер открыл верх кабины, вероятно, потому, что под низким куполом он не мог свободно двигаться. Это было допустимо, так как кабины таких машин не были герметичными и только защищали от непосредственного воздействия атмосферы и ветра. Во время этих манипуляций мог испортиться аппарат Фехнера, и учёный, потеряв сознание, выбрался через открытый купол из машины и свалился вниз.

Такова истории первой жертвы океана. Поиски тела — в скафандре оно должно было плавать на поверхности океана — не дали результатов. Впрочем, возможно, оно и плавало. Тщательное исследование тысячи квадратных миль почти постоянно покрытой лохмотьями тумана волнистой пустыни превышало возможности экспедиции.

До сумерек — я возвращаюсь к предшествующим событиям — вернулись все спасательные аппараты, за исключением большого грузового вертолёта, на котором вылетел Бертон.

Он показался над Базой примерно через час после наступления темноты, когда о нём уже начали серьёзно беспокоиться. Бертон находился в состоянии нервного шока. Он выбрался

из вертолёта только для того, чтобы кинуться бежать. Когда его поймали, он кричал и плакал. Для мужчины, имеющего за плечами семнадцать лет космических полётов, иногда в тяжелейших условиях, это было поразительно. Врачи решили, что он отравился.

Через два дня Бертон, который, даже вернувшись к кажущемуся равновесию, не хотел ни на минуту выйти из главной ракеты экспедиции, ни даже подойти к окну, из которого открывался вид на океан, заявил, что хочет подать рапорт о своём полёте. Он настаивал на этом, утверждая, что речь идёт о деле чрезвычайной важности.

Его рапорт был рассмотрен советом экспедиции, признан созданием больного воображения человека, отравленного газами атмосферы, и как таковой помещён не в историю экспедиции, а в историю болезни Бертона. На этом всё и закончилось.

Вот всё, что было в приложении. Я понял, что существо дела составлял, очевидно, сам рапорт Бертона о событии, которое привело этого пилота к нервному потрясению. Я снова начал перекладывать книги, но «Малого Апокрифа» обнаружить не удалось. Я очень устал и поэтому, отложив дальнейшие поиски до утра, вышел из

кабины.

На ступеньках алюминиевой лесенки лежали пятна света, падающего сверху. Значит, Сарториус всё ещё работал. Так поздно! Я подумал, что должен с ним встретиться.

Наверху было немного теплее. В широком низком коридоре дул слабый ветерок. Полоски бумаги бесстрастно шелестели над вентиляционными отверстиями. Двери главной лаборатории представляли собой толстую плиту шероховатого стекла, вставленного в металлическую раму. Изнутри, стекло было заслонено чем-то тёмным. Свет пробивался только сквозь узкие окна под самым потолком. Я нажал ручку, но, как и ожидал, дверь не поддалась. Внутри царила тишина, и лишь время от времени слышался какой-то слабый писк. Я постучал — никакого ответа.

— Сарториус! — крикнул я. — Доктор Сарториус! Это я, новичок, — Кельвин! Мне нужно с вами увидеться, прошу вас, откройте!

Слабый шорох, словно кто-то ступал по мятой бумаге, и снова тишина.

— Это я — Кельвин! Вы ведь обо мне слышали! Я прилетел два часа назад на «Прометее»! — кричал я, приблизив губы к щели между дверным косяком и металлической рамой. — Доктор Сарто-

риус! Тут никого нет, только я! Откройте!

Молчание. Потом слабый шум. Несколько раз что-то лязгнуло, как будто кто-то укладывал металлические инструменты, на металлический поднос. И вдруг… Я остолбенел. Раздался звук мелких шажков, будто бегал ребёнок. Частый, поспешный топот маленьких ножек. Может… может быть, кто-нибудь имитировал его, очень ловко ударяя пальцами по пустой, хорошо резонирующей коробке.

— Доктор Сарториус! — заревел я. — Вы откроете или нет?!

Никакого ответа, только снова детская трусца и одновременно несколько быстрых, плохо слышных размашистых шагов. Похоже было, что человек шёл на цыпочках. Но если он шёл, то не мог одновременно имитировать детские шаги? «А впрочем, какое мне до этого дело?» — подумал я и, уже не сдерживая бешенства, которое начинало охватывать меня, заорал:

— Доктор Сарториус!!! Я не для того летел сюда шестнадцать месяцев, чтобы посмотреть, как вы разыгрываете комедию! Считаю до десяти. Потом высажу дверь!!!

Я очень сомневался, что мне это удастся.

Струя газового пистолета не слишком сильна,

но я был полон решимости выполнить свою угрозу тем или иным способом. Хотя бы пришлось отправиться на поиски взрывчатки, которая наверняка имелась на складе в достаточном количестве. Я сказал себе, что не должен уступать, что не могу играть этими сумасшедшими картами, которые вкладывала мне в руки ситуация.

Послышался такой звук, словно кто-то с кем-то боролся или что-то толкал, занавеска внутри отодвинулась примерно на полметра, гибкая тень упала на матовую, как бы покрытую инеем плиту двери, и немного хриплый, дискант сказал:

— Я открою, но вы должны обещать, что не войдёте внутрь.

— Тогда зачем вы хотите открыть? — крикнул я.

— Я выйду к вам.

— Хорошо. Обещаю.

Послышался лёгкий треск поворачиваемого в замке ключа, потом тёмная фигура, заслонившая половину двери, старательно задёрнула занавеску и проделала целую серию каких-то непонятных движений. Мне показалось, что я услышал треск передвигаемого деревянного столика, наконец дверь немного приоткрылась, и Сарториус протиснулся в коридор.

Он стоял передо мной, заслоняя собой дверь, очень высокий, худой, казалось, его тело под кремовым трикотажным комбинезоном состоит из одних только костей. Шея была повязана чёрным платком, на плече висел сложенный вдвое прожжённый реактивами лабораторный халат. Чрезвычайно узкую голову он держал немного набок. Почти половину лица закрывали изогнутые чёрные очки, так что глаз его не было видно. У него была длинная нижняя челюсть, синеватые губы и огромные, как будто отмороженные, потому что они тоже были синеватыми, уши. Он был небрит. С локтей на шнурках свисали перчатки из красной резины. Так мы стояли некоторое время, глядя друг на друга с неприкрытой неприязнью. Остатки его волос (он выглядел так, будто сам стригся машинкой под ёжик) были свинцового цвета, щетина на лице — совсем седая. Лоб такой же загорелый, как у Снаута, но загар кончался примерно на середине лба чёткой горизонтальной линией. Очевидно, на солнце он постоянно носил какую-то шапочку.

— Слушаю, — сказал он наконец.

Мне показалось, что он не столько ждёт, когда я заговорю, сколько напряжённо вслушивается в пространство за собой, всё сильнее прижимаясь

спиной к стеклянной плите. Некоторое время я не находил, что сказать, чтобы не брякнуть глупость.

— Меня зовут Кельвин… вы должны были обо мне слышать, — начал я. — Я работаю, то есть… работал с Гибаряном…

Его худое лицо, всё в вертикальных морщинках — так, должно быть, выглядел Дон Кихот, — ничего не выражало. Чёрная изогнутая пластина нацеленных на меня очков страшно мешала мне говорить.

— Я узнал, что Гибарян… что его нет. — У меня перехватило голос.

— Да. Слушаю!

Это прозвучало нетерпеливо.

— Он покончил с собой?… Кто нашёл тело, вы или Снаут?

— Почему вы обращаетесь с этим ко мне? Разве доктор Снаут вам не рассказал?…

— Я хотел услышать, что вы можете рассказать об этом…

— Вы психолог, доктор Кельвин?

— Да. А что?

— Учёный?

— Ну да. Но какая связь…

— А я думал, что вы сыщик или полицейский.

Сейчас без двадцати три, а вы вместо того, чтобы постараться включиться в ход работ, ведущихся на Станции, что было бы по крайней мере понятно, кроме наглой попытки ворваться в лабораторию ещё и допрашиваете меня, как будто я на подозрении.

Я сдержался, и от этого усилия пот выступил у меня на лбу.

— Вы на подозрении, Сарториус! — произнёс я сдавленным голосом.

Я хотел досадить ему любой ценой и поэтому с остервенением добавил:

— И вы об этом прекрасно знаете!

— Если вы, Кельвин, не возьмёте свои слова обратно и не извинитесь передо мной, я подам на вас жалобу в радиосводке!

— За что я должен извиниться? За что? Вместо того чтобы меня встретить, вместо того чтобы честно посвятить меня в то, что здесь происходит, вы запираетесь в лаборатории!!! Вы что, окончательно сошли с ума?! Кто вы такой — учёный или жалкий трус?! Что? Может быть, вы ответите?!

Не помню, что я ещё кричал. Его лицо даже не дрогнуло. Только по бледной пористой коже скатывались крупные капли пота. Вдруг я понял: он вовсе не слушает меня! Обоими руками,

спрятанными за спиной, он изо всех сил держал дверь, которая немного дрожала, словно кто-то напирал на неё с другой стороны.

— Уходите… — простонал он странным плаксивым голосом. — Уходите… умоляю! Идите, идите вниз, я приду, приду, сделаю всё, что хотите, только уходите!!!

В его голосе была такая мука, что я, совершенно растерявшись, машинально поднял руки, желая помочь ему держать дверь, которая уже поддавалась, но он издал ужасный крик, как будто я замахнулся на него ножом. Я начал пятиться назад, а он всё кричал фальцетом:

— Иду! Иду! — И снова: — Иду! Уже иду! Уже иду!!! Нет! Нет!!!

Он приоткрыл дверь и бросился внутрь. Мне показалось, что на высоте его груди мелькнуло что-то золотистое, какой-то сверкающий диск. Из лаборатории теперь доносился глухой шум, занавеска отлетела в сторону, огромная высокая тень мелькнула на стеклянном экране, занавеска вернулась на место, и больше ничего не было видно. Что там происходило? Я услышал топот, шальная гонка оборвалась пронзительным скрежетом бьющемся стекла, и я услышал заливистый детский смех.

У меня дрожали ноги, я растерянно осматривался. Стало тихо. Я сел на низкий пластмассовый подоконник и сидел наверное, с четверть часа, сам не знаю, то ли ожидая чего-то, то ли просто вымотанный до предела, так что мне даже не хотелось встать.

Где-то высоко послышался резкий скрип, и одновременно вокруг стало светлее.

С моего места была видна только часть круглого коридора, который опоясывал лабораторию. Это помещение находилось на самом верху Станции, непосредственно под верхней плитой панциря. Наружные стены здесь были вогнутые и наклонные, с похожими на бойницы окнами, расположенными через каждые несколько метров. Наружные заслонки ушли вверх. Голубой день кончался. Сквозь толстые стёкла ворвался ослепляющий блеск. Каждая никелированная планка, каждая дверная ручка запылала, как маленькое солнце. Дверь в лабораторию — эта большая плита шершавого стекла — засверкала, как жерло топки. Я смотрел на свои посеревшие в этом призрачном свете сложенные на коленях руки. В правой был газовый пистолет. Понятия не имею, когда выхватил его из футляра. Я положил его обратно. Я уже знал, что мне не поможет

даже атомная пушка — что ею можно сделать? Разнести дверь? Ворваться в лабораторию?

Я встал. Погружающийся в океан, похожий на водородный взрыв, диск послал мне вдогонку горизонтальный пучок почти материальных лучей. Когда они тронули мою щёку (я уже спускался по лестнице вниз), я почувствовал прикосновение раскалённого клейма.

Спустившись до половины лестницы, я передумал, вернулся наверх и обошёл лабораторию вокруг. Как я уже говорил, коридор окружал её. Пройдя шагов сто, я очутился на другой стороне у совершенно такой же стеклянной двери. Я даже не пробовал её открыть.

Я искал какое-нибудь окошко в пластиковой стене, хотя бы какую-нибудь щель. Мысль о том, чтобы подсмотреть за Сарториусом, не казалась мне низкой. Я хотел покончить со всеми догадками и узнать правду, хотя совершенно не представлял себе, как удастся её понять.

Мне пришло в голову, что лабораторные помещения освещаются через окна, находящиеся в верхнем панцире, и что если я выберусь наружу, то, возможно, сумею заглянуть сквозь них в лабораторию. Для этого я должен был спуститься вниз за скафандром и кислородным аппаратом.

Я стоял у лестницы, раздумывая, стоит ли игра свеч. Вероятнее всего, стёкла в верхних окнах матовые. Но что мне оставалось делать? Я спустился на средний этаж. Надо было пройти мимо радиостанции. Её дверь была распахнута настежь. Снаут сидел в кресле так же, как я его оставил. Он спал, но, услышав звук моих шагов, вздрогнул и открыл глаза.

— Алло, Кельвин! — окликнул он меня хрипло.

Я молчал.

— Ну что? Узнал что-нибудь? — спросил он.

— Да, — ответил я, помедлив. — Он не один.

Снаут скривил губы:

— Скажите пожалуйста. Это уже что-то. Так, говоришь, у него гости?

— Не понимаю, почему вы не хотите мне сказать, что это такое, — нехотя проговорил я. — Ведь, оставаясь тут, я всё равно рано или поздно всё узнаю. Зачем же эти тайны?

— Поймёшь, когда к тебе самому придут гости,— ответил Снаут.

Казалось, он ждёт чего-то и не очень хочет продолжать беседу.

— Куда идёшь? — бросил он, когда я повернулся.

Я не ответил.

Ракетодром был в таком же состоянии, в каком я его оставил. На возвышении стоял открытый настежь мой обожжённый контейнер. Я подошёл к стойкам со скафандрами, и вдруг у меня пропало всякое желание путешествовать наружу. Я повернулся и по крутой лесенке спустился вниз, туда, где были склады.

Узкий коридор был загромождён баллонами и поставленными один на другой ящиками. Стены его отливали синевой ничем не покрытого металла. Ещё несколько десятков шагов — и под потолком показались подёрнутые белым инеем трубы холодильной аппаратуры. Я пошёл дальше, ориентируясь по ним. Сквозь прикрытую толстым пластмассовым щитком муфту они проходили в герметически закрытое помещение. Когда я открыл тяжёлую, толщиной в две ладони дверь с резиновой кромкой, меня охватил пронизывающий до костей холод. Я задрожал. Из чащи заснеженных змеевиков свисали ледяные сосульки. Здесь тоже стояли покрытые слоем снега ящики, коробки, полки у стен были завалены банками и упакованными в прозрачный пластик желтоватыми глыбами какого-то жира.

В глубине бочкообразный свод понижался. Там висела толстая искрящаяся от ледяных игл

занавеска. Я отодвинул её край. На возвышении из алюминиевых решёток покоился покрытый серой тканью большой продолговатый предмет. Я поднял край полотнища и увидел искажённое лицо Гибаряна. Чёрные волосы с седой полоской надо лбом гладко прилегали к черепу. Кадык торчал высоко, переламывая линию шеи. Высохшие глаза смотрели прямо в потолок, в углу одного глаза собралась мутная капля замёрзшей воды. Холод пронизывал меня, я с трудом заставил себя не стучать зубами. Не выпуская савана, я другой рукой прикоснулся к его щеке. Ощущение было такое, будто я дотронулся до мёрзлого полена. Кожа была шершавой от щетины, которая покрывала её чёрными точками. Выражение неизмеримого, презрительного терпения застыло в изгибе губ. Опуская край ткани, я заметил, что по другую сторону тела из складок высовывается несколько чёрных, продолговатых бусинок или зёрен фасоли. Я замер.

Это были пальцы голых ступней, которые я видел со стороны подошвы, яйцеобразные подушечки пальцев были слегка раздвинуты. Под мятым краем савана лежала негритянка.

Она лежала лицом вниз, как бы погружённая в глубокий сон. Дюйм за дюймом я стягивал

толстую ткань. Голова, покрытая волосами, собранными в маленькие синеватые пучки, лежала на сгибе чёрной массивной руки. Лоснящаяся кожа спины натянулась на бугорках позвонков. Ни малейшее движение не оживляло огромное тело. Ещё раз посмотрел на босые подошвы её ног, и вдруг меня поразила одна удивительная деталь: они не были ни сплющены, ни сбиты той тяжестью, которую должны были носить, на них даже не ороговела кожа от хождения босиком, она была такой же тонкой, как на руках или плечах.

Я проверил это впечатление прикосновением, которое далось мне гораздо труднее, чем прикосновение к мёртвому телу. И тут произошло невероятное: лежащее на двадцатиградусном морозе тело было живым, оно шевелилось. Негритянка подтянула ногу, словно собака, которую взяли за лапу.

«Она здесь замёрзнет», — подумал я. Но её тело было спокойно и не слишком холодно. Я ещё чувствовал кончиками пальцев мягкое прикосновение. Я попятился за занавеску, опустил её и вернулся в коридор. Мне показалось, что в нём дьявольски жарко. Лестница привела меня снова в зал ракетодрома. Я уселся на свёрнутый кольцевой парашют и обхватил голову руками. Я не

знал, что со мной происходит. Я был совершенно разбит, мысли сползали в какую-то пропасть — потеря сознания, смерть казались мне невыразимой, недоступной милостью.

Мне незачем было идти к Снауту или к Сарториусу, я не представлял себе, чтобы кто-нибудь мог сложить в единое целое то, что я до сих пор пережил, видел, до чего дотронулся собственными руками. Единственным спасением, бегством, объяснением был диагноз — сумасшествие. Да, я, должно быть, сошёл с ума сразу же после посадки. Океан подействовал на мой мозг — я переживал галлюцинацию за галлюцинацией, а если это так, то незачем растрачивать силы на бесполезные попытки распутать не существующие в действительности загадки, нужно искать медицинскую помощь, вызвать по радио «Прометей» или какой-нибудь другой звездолёт, дать сигналы «SOS»…

Тут случилось то, чего я никак не ожидал: мысль о том, что я сошёл с ума, успокоила меня.

Я даже слишком хорошо понял слова Снаута — если допустить, что вообще существовал какой-то Снаут и что я с ним когда-либо разговаривал. Ведь галлюцинации могли начаться гораздо раньше. Кто знает, не нахожусь ли я ещё

на борту «Прометея», поражённый внезапным припадком мозгового заболевания; возможно всё, что я пережил было созданием моего возбуждённого мозга? Однако если я был болен, то мог выздороветь, а это давало мне по крайней мере надежду на спасение, которой я никак не мог увидеть в перепутанных кошмарах Соляриса, длящихся всего несколько часов.

Необходимо было, следовательно, провести прежде всего какой-то логично продуманный эксперимент над самим собой — experimentum crucis, — который показал бы мне, действительно ли я свихнулся и являюсь жертвой бредовых видений или же, несмотря на их полную абсурдность и неправдоподобность, мои переживания реальны.

Так я размышлял, присматриваясь к металлическому кронштейну, который поддерживал несущую конструкцию ракетодрома. Это была выступающая из стены, выложенная выпуклыми плитами стальная мачта, окрашенная в салатовый цвет; в нескольких местах, на высоте примерно метра, краска облупилась, наверное, её ободрали проезжающие здесь тележки. Я дотронулся до стали, погрел её немножко ладонью, постучал в завальцованный край предохрани-

тельной плиты: может ли бред достигать такой степени реальности? Может, ответил я сам себе; как-никак это была моя специальность, в этом я разбирался.

А возможно ли придумать этот ключевой эксперимент? Сначала мне казалось, что нет, ибо мой больной мозг (если, конечно, он больной) будет создавать любые иллюзии, какие я от него потребую. Ведь не только при болезни, но и в самом обычном сне случается, что мы разговариваем с неизвестными нам наяву людьми, задаём этим снящимся образам вопросы и слышим их ответы; причём, хотя эти люди являются в действительности лишь плодом нашей собственной психики, как-то выделенные временно её псевдосамостоятельными частями, мы не знаем, какие слова они произнесут, до тех пор, пока они (в этом сне) не обратятся к нам. А ведь на самом деле эти слова являются той же самой обособленной частью нашего собственного разума, и поэтому мы должны были бы их знать уже в тот момент, когда сами их придумали, чтобы вложить в уста фиктивного образа. Что бы я, таким образом, ни задумал, ни осуществил, я всегда мог себе сказать, что поступил так, как поступают во сне. И Снаут, и Сарториус могли вовсе не существовать

в действительности, поэтому задавать им какие бы то ни было вопросы было бессмысленно.

Я подумал, что мог принять какое-нибудь лекарство, какое-нибудь сильнодействующее средство, например, пеотил или другой препарат, который вызывает галлюцинации или цветовые видения. Появление этих феноменов доказало бы, что то, что я воспринимаю, существует на самом деле и является частью материальной, окружающей меня действительности. Но и это — продолжал я думать — не было бы нужным ключевым экспериментом, поскольку я знал, как средство (которое я сам должен был выбрать) должно действовать, а значит, могло случиться, что как приём этого лекарства, так и вызванный им эффект будут одинаково созданием моего воображения.

Мне уже казалось, что, попав в это сумасшедшее кольцо, я не сумею из него выбраться — ведь нельзя мыслить иначе, чем мозгом, нельзя выбраться из самого себя, чтобы проверить нормальность происходящих а организме процессов, — когда вдруг меня осенила мысль, столь же простая, сколь удачная.

Я вскочил и помчался прямо на радиостанцию. Она была пуста. Мимоходом я бросил взгляд на

стенные электрические часы. Было около четырёх часов ночи, условной ночи Станции, снаружи царил красный рассвет… Я быстро включил аппаратуру радиосвязи и, ожидая, пока нагреются лампы, ещё раз мысленно повторил каждый этап эксперимента.

Я не помнил, каким сигналом вызывается автоматическая станция обращавшегося вокруг Соляриса сателлоида, но нашёл его на таблице, висящей над главным пультом. Дал вызов азбукой Морзе и через восемь секунд получил ответ. Сателлоид, а точнее его электронный мозг отозвался ритмично повторяющимися импульсами. Тогда я потребовал, чтобы он сообщил с точностью до пятого десятичного знака, какие меридианы звёздного купола Галактики он пересекает на расстоянии двадцати двух угловых секунд, обращаясь вокруг Соляриса. Потом я сел и стал ждать ответа. Он пришёл через десять минут. Я оторвал бумажную ленту с отпечатанным на ней результатом и, спрятав её в ящик (я старался не бросить на неё даже одного взгляда), принёс из библиотеки большие карты неба, логарифмические таблицы, справочник суточного движения спутника и ещё несколько книг, после чего начал искать ответ на этот же самый вопрос. Почти час

ушёл у меня на составление уравнений. Не помню, когда последний раз мне пришлось столько считать. Наверное, ещё в студенческие годы на экзамене по практической астрономии.

Вычисления я проводил на большом калькуляторе Станции. Мои рассуждения были примерно такими. По картам неба я получу цифры, не точно совпадающие с данными, сообщёнными сателлоидом. Не точно, потому что сателлоид подвержен очень сложным пертурбациям, вызванным влиянием гравитационных сил Соляриса, его обоих, кружащих друг около друга солнц, а также локальных изменений притяжения, создаваемых океаном. Когда у меня будет два ряда цифр: полученных от сателлоида и вычисленных теоретически, я внесу в мои вычисления поправки. Тогда обе группы результатов должны совпасть до четвёртого знака после запятой. Расхождения будут только в пятом знаке, они отразят неучтённое воздействие океана.

Если даже цифры, сообщённые сателлоидом, не существуют в действительности, а являются плодом моего воображения, всё равно они не смогут совпасть с другим рядом — вычисленных данных. Мозг мой может быть больным, но ни при каких условиях он не в состоянии произвести

вычисления, выполненные большим калькулятором станции, так как на это потребовалось бы много месяцев. А следовательно, если цифры совпадут, значит, большой калькулятор Станции на самом деле существует и я пользовался им в действительности, а не в бреду.

У меня дрожали руки, когда я вынимал из ящика бумажную телеграфную ленту и расправлял её рядом с другой, более широкой, из калькулятора. Оба ряда цифр, как я и предполагал, совпадали до четвёртого знака. Расхождение появилось только в пятом. Я спрятал все бумаги в ящик. Итак, калькулятор существовал независимо от меня. Из этого следовала реальность Станции и всего, что на ней происходило.

Я уже хотел закрыть ящик, как заметил, что его наполняет целая пачка листков, покрытых нетерпеливыми подсчётами. Я вынул пачку и с первого взгляда понял, что кто-то проводил уже эксперимент, похожий на мой, с той только разницей, что вместо данных, касающихся звёздной сферы, потребовал от сателлоида измерений альбедо Соляриса на расстоянии сорока секунд.

Я не был сумасшедшим. Последний лучик надежды угас. Я выключил передатчик, выпил остатки бульона из термоса и пошёл спать.

Хари

Все расчёты я делал с каким-то молчаливым остервенением, и только оно удерживало меня на ногах. Я настолько отупел от усталости, что даже не сумел разложить кровать в кабине и, вместо того чтобы освободить верхние зажимы, потянул за поручень, и постель свалилась на меня. Наконец я её опустил, бросил одежду и бельё прямо на пол и полуживой упал на подушку, даже не поправив её. Я заснул при свете, не помню когда. Открыв глаза, я решил, что спал всего несколько минут. Комната была наполнена угрюмым красным сиянием. Мне было холодно и хорошо. Напротив кровати, под окном, кто-то сидел в кресле, освещённый красным солнцем. Это была Хари. В белом платье, босая, тёмные волосы зачёсаны назад, тонкий материал натягивается на груди, загорелые до локтей руки опущены. Хари неподвижно смотрела на меня из-под своих чёрных ресниц. Я разглядывал её долго и в общем спокойно. Моей первой мыслью было: «Как хорошо, что это такой сон, когда знаешь, что тебе всё снится». И всё-таки мне хотелось, чтобы она

исчезла. Я закрыл глаза и заставил себя хотеть этого очень сильно, но, когда посмотрел, она по-прежнему сидела передо мной. Губы она сложила по-своему, будто собиралась свистнуть, но в глазах не было улыбки. Я припомнил всё, что думал о снах накануне вечером, перед тем как лечь спать. Хари выглядела точно так же, как тогда, когда я видел её в последний раз живой, а ведь тогда ей было девятнадцать. Сейчас ей было бы двадцать девять, но, естественно, ничего не изменилось — мёртвые остаются молодыми. Она смотрела на меня всё теми же всему удивляющимися глазами. «Кинуть в неё чем-нибудь», — подумал я, но, хотя это был только сон, не решился.

— Бедная девочка. Пришла меня навестить, да? — сказал я и немного испугался, потому что мой голос прозвучал так правдиво, а комната и Хари — всё выглядело так реально, как только можно себе представить.

Какой пластичный сон, мало того, что он цветной, я вдобавок вижу тут на полу многие вещи, которых вчера, ложась спать, даже не заметил. «Когда проснусь, — решил я, — нужно будет проверить, действительно ли они здесь лежат или созданы сном, как Хари…»

— И долго ты намерена так сидеть? — спросил я

и заметил, что говорю очень тихо, словно боюсь, что меня услышат. Как будто можно подслушать, что происходит во сне.

В это время солнце уже немного поднялось. «Ну вот, — подумал я, — отлично. Я ложился, когда был красный день, затем должен был быть голубой и только потом второй красный. Поскольку я не мог без перерыва спать пятнадцать часов, то это наверняка сон».

Успокоенный, я внимательно присмотрелся к Хари. Она была освещена сзади. Луч, проходящий через щель в занавеси, золотил бархатный пушок на её левой щеке, а от ресниц на лицо падала длинная тень. Она была прелестна. «Скажите, пожалуйста, — пришла мне в голову мысль, — какой я скрупулёзный даже по ту сторону реальности. И движение солнца отмечаю, и то, что у неё ямочка там, где ни у кого нет, ниже уголка удивлённых губ». И всё же мне хотелось, чтобы всё это кончилось.

Пора заняться работой. Я сжал виски, стараясь проснуться, когда неожиданно услышал скрип. Я тотчас открыл глаза.

Хари сидела рядом со мной на кровати и внимательно смотрела на меня. Я улыбнулся ей, и она тоже улыбнулась и наклонилась надо мной.

Первый поцелуй был лёгким, как будто мы были детьми. Я целовал её долго. «Разве можно так пользоваться сном?» — подумал я. Но ведь ей даже не может изменить память, потому что она мне снится. Она сама. Никогда со мной такого не случалось… Мы всё ещё ничего не говорили. Мы лежали навзничь. Когда она поднимала лицо, мне становились видны маленькие ноздри, которые всегда были барометром её настроения. Кончиками пальцев я потрогал её уши — мочки порозовели от поцелуев. Не знаю, от этого ли мне стало так неспокойно; я всё ещё говорил себе, что это только сон, но сердце у меня сжалось.

Я напрягся, чтобы вскочить с постели, но приготовился к неудаче — во сне очень часто мы не можем управлять собственным телом. Скорее я рассчитывал проснуться от этом напряжения, но не проснулся, а просто сел на кровати, спустив ноги на пол. «Ничего не поделаешь, пусть снится до конца», — сдался я, но хорошее настроение исчезло окончательно. Я боялся.

— Чего ты хочешь? — Голос звучал хрипло, и мне пришлось откашляться.

Машинально я начал искать ногами туфли, но сразу же вспомнил, что здесь нет никаких туфель, и так ушиб палец, что вскрикнул. «Ну, теперь

будет конец», — решил я с удовлетворением.

Но ничего не произошло. Хари отодвинулась, когда я сел. Плечами она оперлась о спинку кровати. Платье её чуть-чуть подрагивало под левой грудью в такт биению сердца. Она смотрела на меня со спокойным интересом. Я подумал, что лучше всего принять душ, но сразу же сообразил, что душ, который снится, не может разбудить.

— Откуда ты взялась?

Она подняла мою руку и стала подбрасывать её знакомым движением.

— Не знаю. Это плохо?

И голос был тот же, низкий… и рассеянный тон. Она всегда говорила так, будто мысли её заняты чем-то другим.

— Тебя… кто-нибудь видел?

— Не знаю. Я просто пришла. Разве это важно, Крис?

Хари всё ещё играла моей рукой, но её лицо больше в этом не участвовало. Она нахмурилась.

— Хари?…

— Что, милый?

— Откуда ты узнала, где я?

Это её озадачило,

— Понятия не имею. Смешно, да? Ты спал, когда я вошла, и не проснулся. Мне не хотелось тебя

будить, потому что ты злюка. Злюка и зануда. — В такт своим словам она энергично подбрасывала мою ладонь.

— Ты была внизу?

— Была. Я убежала оттуда. Там холодно.

Она опустила мою руку. Укладываясь на бок, тряхнула головой, чтобы все волосы были на одной стороне, и посмотрела на меня с той полуулыбкой, которая много лет назад перестала меня дразнить только тогда, когда я понял, что люблю её.

— Но ведь… Хари… ведь… — больше мне ничего не удалось из себя выдавить.

Я наклонился над ней и приподнял короткий рукав платья. Над похожей на цветок меткой прививки оспы краснел маленький след укола. Хотя я ожидал этого (так как всё ещё инстинктивно пытался найти обрывки логики в невозможном), мне стало не по себе. Я дотронулся пальцами до ранки, которая снилась мне годами, так что я просыпался со стоном на растерзанной постели, всегда в одной и той же позе — скорчившись так, как лежала она, когда я нашёл её уже холодной. Наверное, во сне я пытался сделать то же, что она, как будто хотел вымолить прощение или быть вместе с ней в те последние минуты, когда

она уже почувствовала действие укола и должна была испугаться. Она боялась даже обычной царапины, совершенно не выносила ни боли, ни вида крови и, вот теперь сделала такую страшную вещь, оставив пять слов на открытке, адресованной мне. Открытка была у меня в бумагах, я носил её при себе постоянно, замусоленную, рвущуюся на сгибах, и не имел мужества с ней расстаться, тысячу раз возвращаясь к моменту, когда она её писала, и к тому, что она тогда должна была чувствовать. Я уговаривал себя, что она хотела сделать это в шутку и напугать меня и только доза случайно оказалась слишком большой. Друзья убеждали меня, что всё было именно так или что это было мгновенное решение, вызванное депрессией, внезапной депрессией. Они ведь не знали того, что я сказал ей пять дней назад и, чтобы задеть её ещё больше, стал собирать вещи. А она, когда я упаковывался, спросила очень спокойно: «Ты знаешь, что это значит?…» Я сделал вид, что не понимаю, хотя отлично знал. Я считал её трусихой и сказал ей об этом, а теперь она лежала поперёк кровати и смотрела на меня внимательно, как будто не знала, что я её убил.

Комната была красной от солнца, волосы Хари блестели, она смотрела на своё плечо, а когда я

опустил руку, положила на мою ладонь холодную гладкую щёку.

— Хари, — прохрипел я. — Это невозможно.

— Перестань!

Её глаза были закрыты, я видел, как дрожали веки.

— Где мы, Хари?

— У нас.

— Где это?

Один глаз на миг открылся и закрылся снова. Она пощекотала ресницами мою ладонь.

— Крис, мне хорошо!

Я сидел над ней не шевелясь. Потом поднял голову и увидел в зеркале над умывальником часть кровати, растрёпанные волосы Хари и свои голые колени. Я подвинул ногой один из тех, наполовину расплавленных инструментов, которые валялись на полу, взял его свободной рукой, приставил к коже над тем местом, где розовел полукруглый симметричный шрам, и воткнул в тело. Боль была резкой. Я смотрел на большие капли крови, которые скатывались по бедру и тихо падали на пол.

Всё было напрасно. Ужасные мысли, которые бродили у меня в голове, становились всё отчётливее. Я больше не говорил себе: «Это сон», теперь

я думал: «Нужно защищаться».

Я посмотрел на её босые ноги, потом потянулся к ним. Осторожно дотронулся до розовой пятки и провёл пальцем по подошве. Она была нежной, как у новорождённого.

Я уже наверняка знал, что это не Хари, и был почти уверен, что сама она об этом не знает.

Босая нога шевелилась в моей ладони, тёмные губы Хари набухли от беззвучного смеха.

— Перестань… — шепнула она.

Я мягко освободил руку и встал. Поспешно одеваясь, увидел, как она села на кровати и стала, улыбаясь, глядеть на меня.

— Где твои вещи? — спросил я и тотчас пожалел об этом.

— Мои вещи?

— Что, у тебя только это платье?

Теперь это была уже игра. Я умышленно старался говорить небрежно, обыденно, как будто мы вообще никогда не расставались. Она встала и знакомым мне лёгким и сильным движением провела рукой по юбке, чтобы разгладить её.

Мои слова её заинтересовали, но она ничего не сказала, только обвела комнату взглядом, который первый раз был реальным, ищущим, и повернулась ко мне с удивлением.

— Не знаю, — сказала беспомощно. — Может быть, в шкафу? — добавила она, приоткрыв дверцы.

— Нет, там только комбинезоны, — ответил я, подошёл к умывальнику, взял электробритву и начал бриться, стараясь при этом не становиться спиной к девушке, кем бы она ни была.

Она ходила по кабине, заглядывала во все углы, посмотрела в окно, наконец подошла ко мне.

— Крис, у меня такое ощущение, как будто что-то случилось.

Она остановилась. Я ждал с выключенной бритвой в руке.

— Как будто что-то забыла… как будто очень многое забыла. Знаю… помню только себя… и… и… ничего больше.

Я слушал её, стараясь владеть своим лицом.

— Я была… больна?

— Ну, можно это назвать и так. Да, некоторое время ты была немного больна.

— Ага. Это, наверное, потому.

Она слегка повеселела. Не могу рассказать, что я чувствовал. Когда она молчала, сидела, улыбалась, впечатление, что я вижу перед собой Хари, было сильнее, чем сосущая меня тревога. Потом опять мне казалось, что это какая-то упрощённая

Хари, сведённая к нескольким характерным обращениям, жестам, движениям. Она подошла ко мне совсем близко, упёрла сжатие кулаки мне в грудь и спросила:

— Как у нас с тобой? Хорошо или плохо?

— Как нельзя лучше!

Она слегка улыбнулась.

— Когда ты так говоришь, скорее плохо.

— С чего ты это взяла… Хари… дорогая… я должен сейчас уйти, — проговорил я поспешно. — Подожди меня, хорошо? А может быть, ты голодна? — добавил я, потому что сам чувствовал всё усиливающийся голод.

— Голодна? Нет.

Она тряхнула головой.

— Я должна ждать тебя? Долго?

— Часик, — начал я, но она прервала.

— Пойду с тобой.

Это была уже совсем другая Хари: та не навязывалась. Никогда.

— Детка, это невозможно.

Она смотрела на меня снизу, потом неожиданно взяла меня за руку.

Я начал гладить её упругое, тёплое плечо. Внезапно я вдруг понял, что ласкаю Хари. Моё тело узнавало, хотело её, меня тянуло к ней, несмотря

на разум, логику и испуг.

Стараясь любой ценой сохранить спокойствие, я повторил:

— Хари, это невозможно. Ты должна остаться здесь.

— Нет.

— Почему?

— Н-не знаю.

Она осмотрелась и снова подняла на меня глаза.

— Не могу… — сказала она совсем тихо.

— Но почему?!

— Не знаю. Не могу. Мне кажется… Мне кажется…

Она настойчиво искала в себе ответ, а когда нашла, то он был для неё откровением.

— Мне кажется, что я должна тебя всё время видеть.

В интонации этих слов было что-то встревожившее меня. И, наверное, поэтому я сделал то, чего совсем не собирался делать. Глядя ей в глаза, я начал выгибать её руки за спину. Это движение, сначала не совсем решительное, становилось осмысленным, у меня появилась цель. Я уже искал глазами что-нибудь, чем мог бы её связать.

Её локти, вывернутые назад, слегка стукнулись

друг о друга и одновременно напряглись с силой, которая сделала мою попытку бессмысленной. Я боролся, может быть, секунду. Даже атлет, перегнувшись назад, как Хари, едва касаясь ногами пола, не сумел бы освободиться. Но она с лицом, не принимавшим во всём этом никакого участия, со слабой, неуверенной улыбкой разорвала мой захват, освободилась и опустила руки.

Её глаза смотрели на меня с тем же спокойным интересом, что и в самом начале, когда я проснулся. Как будто она не обратила внимания на моё отчаянное усилие, вызванное приступом паники. Она стояла неподвижно и словно чего-то ждала — одновременно равнодушная, сосредоточенная и чуточку всем этим удивлённая.

У меня опустились руки. Я оставил её на середине комнаты и пошёл к полке возле умывальника. Я почувствовал, что попал в ужасную западню, и искал выхода, перебирая всё более беспощадные способы. Если бы меня кто-нибудь спросил, что со мной происходит и что всё это значит, я не смог бы выдавить из себя ни слова. Но я уже уяснил себе — то, что делается на Станции со всеми нами составляет единое целое, страшное и непонятное. Однако в тот момент я думал только о том, как убежать.

Не глядя, я чувствовал на себе взгляд Хари. Над полкой в стене находилась маленькая аптечка. Я бегло просмотрел её содержимое, отыскал банку со снотворным и, бросил в стакан четыре таблетки — максимальную дозу. Я даже не очень скрывал свои манипуляции от Хари. Трудно сказать почему. Просто не задумывался над этим. Я налил в стакан горячей воды, подождал, пока таблетки растворятся, и подошёл к Хари, всё ещё стоящей посреди комнаты.

— Сердишься? — спросила она тихо.

— Нет. Выпей это.

Не знаю, почему я решил, что она меня послушается. Действительно, она молча взяла стакан из моих рук и залпом выпила снотворное. Я поставил пустой стакан на столик, уселся в углу между шкафом и книжной полкой. Хари медленно подошла ко мне и уселась на полу около кресла, подобрав под себя ноги так, как она делала не один раз, и таким же хорошо знакомым мне движением отбросила назад волосы. Хотя я уже совершенно не верил в то, что это она, каждый раз, когда я узнавал её в этих маленьких привычках, что-то хватало меня за горло. Это было непонятно и страшно, а самым страшным было то, что я и сам должен был поступать фальшиво,

делая вид, что принимаю её за Хари.

Но ведь она сама считала себя Хари и в её поведении не было никакого коварства. Я не знаю, как дошёл до такой мысли, но был в этом уверен, если я ещё вообще мог быть в чём-нибудь уверен.

Я сидел, а девушка оперлась плечом о мои колени, её волосы щекотали мою руку, мы оба почти не двигались. Раза два я незаметно посмотрел на часы. Прошло полчаса — снотворное должно было подействовать. Хари что-то тихонько пробормотала.

— Что ты говоришь? — спросил я, но она не ответила.

Я решил, что это признак нарастающей сонливости, хотя, честно говоря, в глубине души сомневался, что лекарство подействует. Почему? И на этот вопрос не было ответа. Скорее всего потому, что моя хитрость была слишком примитивна.

Понемногу её голова склонилась на моё колено, тёмные волосы закрыли её лицо. Она дышала мерно, как спящий человек. Я наклонился, чтобы перенести её на кровать. Вдруг она, не открывая глаз, схватила меня за волосы и разразилась громким смехом.

Я остолбенел, а она просто заходилась от смеха.

Сощурив глаза, она следила за мной с наивной и хитрой миной.

Я сидел неестественно неподвижно, ошалевший и беспомощный, а Хари, насмеявшись, прижалась лицом к моей руку и затихла.

— Почему ты смеёшься? — спросил я деревянным голосом.

То же выражение немного тревожного внимания появилось на её лице. Я видел, что она хочет быть честной. Она потрогала пальцем свой маленький нос и сказала, наконец, вздохнув:

— Сама не знаю.

В этом прозвучало непритворное удивление.

— Я веду себя как идиотка, да? — начала она. — Мне ни с того ни с сего как-то… Но ты тоже хорош: сидишь надутый как… как Пелвис…

— Как кто? — переспросил я. Мне показалось, что я ослышался.

— Как Пелвис, ну, ты ведь знаешь, тот, толстый.

Уж Хари-то, вне всякого сомнения, не могла ни знать Пелвиса, ни даже слышать о нём от меня по той простой причине, что он вернулся из своей экспедиции только через три года после её смерти. Я тоже не был с ним знаком до этого и не знал, что, председательствуя на собраниях

Института, он имеет обычай затягивать заседание до бесконечности. Собственно говоря, его имя было Пелле Виллис, из этого и образовалось сокращённое прозвище, также неизвестное до его возвращения.

Хари оперлась локтями о мои колени и смотрела мне в глаза. Я взял её за кисти и медленно провёл руками вверх к плечам, так что мои пальцы почти сомкнулись вокруг её пульсирующей шеи. В конце концов это могла быть и ласка, и, судя по её взгляду, она так к этому и отнеслась. В действительности я просто хотел убедиться в том, что у неё обыкновенное, тёплое, человеческое тело и что под мышцами, находятся кости. Глядя в её спокойные глаза, я почувствовал острое желание быстро стиснуть пальцы.

Я уже почти сделал это, когда вдруг вспомнил окровавленные руки Снаута, и отпустил её.

— Как ты смотришь…— сказала Хари спокойно.

У меня так колотилось сердце, что я был не в состоянии отвечать. На мгновение я закрыл глаза.

И вдруг у меня родился целый план действий, от начала до конца, со всеми деталями. Не теряя ни минуты, я встал с кресла.

— Мне пора идти, Хари, — сказал я, — и если ты

уж так хочешь, то пойдём со мной.

— Хорошо.

Она вскочила.

— Почему ты босая? — спросил я, подходя к шкафу и выбирая среди разноцветных комбинезонов два — для себя и для неё.

— Не знаю… наверное, куда-нибудь закинула туфли, — сказала она неуверенно.

Я пропустил это мимо ушей.

— В платье ты не сможешь этого надеть, придётся тебе его снять.

— Комбинезон? А зачем? — поинтересовалась она, сразу же начиная стягивать с себя платье. Но тут выяснилась удивительная вещь. Платье нельзя было снять, у него не было никакой застёжки, ни молнии, ни крючков, ничего. Красные пуговки посредине были только украшением. Хари смущённо улыбнулась. Сделав вид, что это самая обычная вещь на свете, я поднятым с пола похожим на скальпель инструментом разрезал платье на спине, в том месте, где кончалось декольте. Теперь она могла снять платье через голову. Комбинезон был немного великоват…

— Полетим?… И ты тоже? — допытывалась она, когда мы оба уже одетыми покидали комнату. Я только кивнул головой. Я ужасно боялся, что мы

встретим Снаута, но коридор, ведущий на взлётную площадку, был пуст, а двери радиостанции, мимо которой нам пришлось пройти, закрыты.

Хари следила за тем, как я на небольшой электрической тележке выкатил из среднего бокса на свободный путь ракету. Я поочерёдно проверил исправность микрореактора, дистанционное управление рулей и дюз, потом вместе со стартовой тележкой перекатил ракету на круглую плоскость стартового диска под центральной воронкой купола, предварительно убрав оттуда мой пустой контейнер.

Это была небольшая ракета для поддержания связи между Станцией и сателлоидом, которая использовалась для перевозки грузов, а не людей. Люди летали в ней только в исключительных случаях, так как её нельзя было открыть изнутри. Именно это и составляло часть моего плана. Я не собирался на самом деле запустить ракету, но делал всё так, как будто по-настоящему готовил её к старту. Хари, которая столько раз была моей спутницей в путешествиях, немного разбиралась в этом. Я ещё раз проверил внутри состояние кислородной аппаратуры и климатической установки, привёл всё в действие и, когда после включения главной цепи загорелись сигнальные

лампочки, вылез из тесной кабины и указал на неё Хари, которая стояла у лесенки:

— Забирайся.

— А ты?

— Я за тобой. Мне нужно будет закрыть за нами люк.

Я был уверен, что она не заметит моей хитрости. Когда она забралась по лесенке в кабину, я сразу же всунул голову внутрь, спросил, удобно ли она расположилась, и, услышав глухое сдавленное «да», откачнулся назад и с размаху захлопнул люк. Двумя движениями я вбил обе задвижки до упора и приготовленным ключом начал доворачивать пять болтов, торчащих в углублениях обшивки.

Заострённая сигара стояла вертикально, как будто действительно должна была через мгновение уйти в пространство. Я знал: с той, которая заперта внутри, не случится ничего плохого. В ракете было достаточно кислорода и даже немножко продовольствия. В конце концов я вовсе не собирался держать её там до бесконечности.

Я стремился любой ценой добыть хотя бы пару часов свободы, чтобы составить планы на будущее и наладить контакт со Снаутом. Теперь уже

на равных правах.

Затянув предпоследний болт, я почувствовал, что металлические стойки, в которых торчала ракета, подвешенная только на трёх небольших выступах, слегка дрожат, но подумал, что это я сам, изо всех сил орудуя большим ключом, нечаянно раскачал стальную глыбу.

Однако когда я отошёл на несколько шагов, то увидел такое, что не хотел бы увидеть ещё раз.

Ракета ходила ходуном, подбрасываемая сериями падающих изнутри ударов, но каких ударов! Если бы место черноволосой стройной девушки занял стальной автомат, даже он, наверное, не сумел бы ввергнуть восьмитонную массу в эту конвульсивную дрожь.

Отражения ламп в полированной поверхности ракеты переливались и плясали. Я, правда, не слышал никаких ударов, внутри ракеты было совершенно тихо. Только широко расставленные опоры конструкции, в которой висела ракета, утратили чёткость рисунка, они вибрировали, как струны. Частота колебаний была такой, что я испугался за целость обшивки. Трясущимися руками я затянул последний болт, отшвырнул ключ и соскочил с лесенки. Медленно пятясь задом, я видел, как шпильки амортизаторов,

рассчитанных только на постоянное давление, пляшут в своих гнёздах. Мне показалось, что бронированная оболочка теряет свой однородный монолитный блеск. Как сумасшедший подскочил я к пульту дистанционного управления, обеими руками толкнул вверх рычаги запуска реактора и связи. И тогда из репродуктора вырвался не то визг, не то свист, совершенно непохожий на человеческий голос, но, несмотря на это, я разобрал в нём повторяющееся, воющее: «Крис! Крис! Крис!!!»

Не могу сказать, что я слышал это отчётливо. Кровь лилась с моих ободранных рук, я хаотично, в бешеном темпе стремился запустить ракету. Желтоватый отсвет упал на стены. Со стартовой площадки под воронкой клубами взлетела пыль, её сменил сноп искр, и все звуки покрыл высокий протяжный гул. Ракета поднялась на трёх языках пламени, которые сразу же слились в одну огненную колонну и вырвались сквозь воронку выбрасывателя. Заслонки тотчас же закрылись, автоматически включившиеся компрессоры начали продувать свежим воздухом помещение, в котором клубился едкий дым.

Всего этого я не замечал. Опершись руками о пульт, ещё чувствуя на лице огонь, со взъеро-

шенными, обгоревшими волосами, я судорожно хватал ртом воздух, полный гари и характерного запаха ионизации. Хотя в момент старта я инстинктивно закрыл глаза, пламя всё же ослепило меня. Некоторое время я видел только чёрные, красные и золотые круги. Понемногу это прошло. Дым и пыль уходили, втягиваясь в протяжно воющие вентиляционные трубы.

Первое, что я увидел, был зелёный экран локатора. Я начал искать ракету, маневрируя поисковой антенной. Когда я её наконец поймал, она уже проскочила атмосферу. Ещё никогда в жизни я не запускал ракет таким сумасшедшим слепым способом, не имея понятия, ни какое ей дать ускорение, ни вообще куда её направить. Я подумал, что проще всего вынести её на кольцевую орбиту вокруг Соляриса, на высоте порядка тысячи километров. Тогда я смогу выключить двигатели: они работали слишком долго, и я не был уверен, что в результате не произойдёт катастрофа. Тысячекилометровая орбита была, как я убедился по таблице, стационарной. Правда, она тоже ничего не гарантировала, просто это был единственный выход из положения, который я видел.

У меня не хватило смелости включить репро-

дуктор, который я выключил сразу же после старта. Я сделал бы всё, что угодно, лишь бы не услышать снова этот ужасный голос, в котором уже не было ничего человеческого. Все сомнения — это я мог себе сказать — были уничтожены, и сквозь мнимое лицо Хари начало проглядывать другое, настоящее, перед которым альтернатива помешательства действительно казалась освобождением.

Было около часа, когда я покинул ракетодром.

«Малый апокриф»

Кожа на лице и руках у меня была обожжена. Я вспомнил, что когда искал снотворное для Хари (сейчас я бы посмеялся над своей наивностью, если бы только мог), то заметил в аптечке баночку мази от ожогов, и отправился к себе. Я открыл двери и в красном свете заката увидел, что в кресле, возле которого перед этим расположилась Хари, кто-то сидит. Страх парализовал меня, я рванулся назад чтобы спастись бегством. Это продолжалось какую-то долю секунды. Сидящий поднял голову. Я узнал Снаута. Положив ногу на ногу, повернувшись ко мне спиной, он листал какие-то бумаги. Большая пачка их лежала рядом на столике. Увидев меня, Снаут отложил все бумаги и некоторое время хмуро рассматривал меня поверх спущенных на кончик носа очков.

Я молча подошёл к умывальнику, вынул из аптечки полужидкую мазь и начал смазывать ею наиболее обожжённые места на лбу и щеках. К счастью, лицо опухло не очень. Несколько больших пузырей на виске и щеке я проткнул стерильной иглой для уколов и выдавил из них

жидкость. Потом прилепил два куска влажной марли. Всё это время Снаут внимательно следил за мной. Я не обращал на него внимания. Наконец я закончил процедуру (а лицо у меня горело всё сильней) и уселся в другое кресло. Сначала мне пришлось снять с него платье Хари. Это было совсем обычное платье, если не считать отсутствующей застёжки.

Снаут, сложив руки на остром колене, критически следил за моими действиями.

— Ну что, поговорим? — спросил он, подождав, пока я сяду.

Я не ответил, прижимая кусок марли, который начал сползать со щеки.

— Были «гости», ведь так, Крис?

— Да, — ответил я тихо. У меня не было ни малейшего желания поддерживать такой тон.

— И тебе удалось избавиться? Ну-ну, здорово ты за это взялся.

Он дотронулся до всё ещё шелушащегося лба, на котором уже показались розовые пятна молодой кожи. Я одурело смотрел на них. Почему до сих пор этот так называемый загар Снаута и Сарториуса не заставил меня задуматься? Я считал, что это от солнца, — а ведь на Солярисе никто не загорает.

— Но хоть начал-то ты скромно? — сказал Снаут, не обращая внимания на то, что я весь вспыхнул от осенившей меня догадки. — Разные наркотики, яды, приёмы вольной борьбы, а?

— Чего ты хочешь? Можем разговаривать на равных правах. Если ты собираешься паясничать, лучше уходи.

— Иногда приходится быть паяцем и не желая этого, — сказал он и поднял на меня прищуренные глаза. — Не будешь же ты меня убеждать, что не попробовал верёвки или молотка? А чернильницей, случайно, не бросался, как Лютер? Нет? Э, — поморщился он, — да ты парень что надо. Даже умывальник цел. Голову разбить вообще не пробовал, в комнате полный порядок. Значит, раз-два — засадил, выстрелил, и готово? — Снаут взглянул на часы и закончил: — Какие-нибудь два, а может, и три часа у нас теперь есть.

Он посмотрел на меня с неприятной усмешкой и вдруг спросил:

— Значит, говоришь, что считаешь меня свиньёй?

— Законченной свиньёй, — подтвердил я резко.

— Так. А ты поверил бы мне, если бы я сказал? Поверил бы хоть одному слову?

Я молчал.

— С Гибаряном это случилось с первым, — протянул он всё с той же искусственной улыбкой. — Он закрылся в своей кабине и разговаривал только сквозь дверь. А мы… догадываешься, что мы решили?

Я знал, но предпочитал молчать.

— Ну ясно. Решили, что он помешался. Кое-что он нам рассказал через дверь, но не всё. Может быть, ты даже догадываешься, почему он скрывал, кто у него был? Ведь ты уже знаешь: каждому своё. Но это был настоящий учёный. Он требовал, чтобы мы дали ему шанс.

— Какой шанс в принципе вы могли ему дать?

— Ну, я думаю, он пробовал это как-то классифицировать, как-то договориться, что-то решить. Знаешь, что он делал? Наверное, знаешь?

— Эти вычисления, — сказал я. — В ящике. На радиостанции. Это он?

— Да. Но тогда я об этом ничего не знал.

— Как долго это продолжалось?

— «Гости»? С неделю. Разговоры через дверь. Но что там делалось… Мы думали, у него галлюцинации, моторное возбуждение. Я давал ему скополамин.

— Как это… ему?

— Вот так. Он брал, но не для себя. Экспериментировал. Так всё и шло.

— А вы?…

— Мы? На третий день решили добраться до него, выломать дверь, если иначе не удастся. Мы честно хотели его вылечить.

— Ах… значит, поэтому! — вырвалось у меня.

— Да.

— И там… в том шкафу…

— Да, мой милый. Да. Он не знал, что в то время нас тоже навестили «гости». Мы уже не могли им заниматься. Но он не знал об этом. Теперь… теперь уже есть некоторый опыт.

Он произнёс это так тихо, что последнее слово я скорее угадал, чем услышал.

— Погоди, я не понимаю, — сказал я. — Как же так? Ведь вы должны были слышать. Ты сам сказал, что вы подслушивали. Вы должны были слышать два голоса, а не один…

— Нет. Только его голос, а если даже и были там непонятные звуки, то сам понимаешь, что все мы приписывали этому…

— Только его? Но… почему же?

— Не знаю. Правда, у меня есть на этот счёт одна теория. Но думаю, не следует с ней торопиться, тем более что всего она не объясняет. Вот так. Но

ты должен был увидеть что-то ещё вчера, иначе принял бы нас обоих за сумасшедших.

— Я думал, что сам свихнулся.

— Ах, так? И никого не видел?

— Видел.

— Кого?

Его гримаса уже не походила на улыбку. Я долго смотрел на него, прежде чем ответить.

— Ту… чёрную…

Он ничего не сказал, но вся его скорчившаяся, подавшаяся вперёд фигура немного обмякла.

— Мог всё-таки меня предупредить, — начал я уже менее уверенно.

— Я ведь тебя предупредил.

— Каким способом?

— Единственно возможным. Пойми, я не знал, кто это будет. Этого никто не знал, этого нельзя было знать…

— Слушай, Снаут, я хочу тебя спросить. Ты знаешь это… уже некоторое время. Та… то… что с ней будет?

— Тебя интересует, вернётся ли она?

— Да.

— Вернётся и не вернётся.

— Что это значит?

— Вернётся такая же, как в начале… первого

визита. Попросту не будет ничего знать, точнее, будет себя вести так, будто всего, что ты сделал, чтобы от неё избавиться, никогда не было. Если не вынудит её к этому ситуация, не будет агрессивной.

— Какая ситуация?

— Это зависит от обстоятельств…

— Снаут!

— Что тебя интересует?

— Мы не можем позволить роскошь таиться друг от друга.

— Это не роскошь, — прервал он сухо. — Кельвин, мне кажется, что ты всё ещё не понимаешь… или постой! — У него заблестели глаза. — Ты можешь рассказать, кто это был?!

Я проглотил слюну и опустил голову. Мне не хотелось смотреть на него. Лучше бы это был кто-нибудь другой, не он. Но выбора не было. Кусок марли отклеился и упал мне на руку. Я вздрогнул от скользкого прикосновения.

— Женщина, которая… — Я не кончил. — Она убила себя. Сделала себе… укол…

Снаут ждал.

— Самоубийство?… — спросил он, видя, что я молчу.

— Да.

— Это всё?

Я молчал.

— Это не может быть всем…

Я быстро повернул голову. Он на меня не смотрел.

— Откуда ты знаешь?

Он не ответил.

— Хорошо, — сказал я, облизнув губы. — Мы поссорились. Собственно… Я ей сказал, знаешь, как говорят со зла… Забрал вещи и ушёл. Она дала мне понять… не сказала прямо… но если с кем-нибудь прожил годы, то это и не нужно… Я был уверен, что это только слова… что она испугается это сделать и… так ей и сказал. На другой день я вспомнил, что оставил в шкафу… яды. Она знала о них. Они были нужны, я принёс их из лаборатории и объяснил ей тогда, как они действуют. Я испугался и хотел пойти к ней, но потом подумал, что это будет выглядеть, будто я принял её слова всерьёз, и… оставил всё как было. На третий день я всё-таки пошёл, это не давало мне покоя. Но… когда пришёл, она уже была мёртвой.

— Ах ты, святая невинность…

Это меня взорвало. Но, посмотрев на Снаута, я понял, что он вовсе не издевается. Я увидел его как будто в первый раз. У него было серое

лицо, в глубоких морщинах которого спряталась невыразимая усталость. Он выглядел, как тяжело больной человек.

— Зачем ты так говоришь? — спросил я удивительно несмело.

— Потому что эта история трагична. Нет, нет, — добавил он быстро, увидев моё движение, — ты всё ещё не понимаешь. Конечно, ты можешь это очень тяжело переживать, даже считать себя убийцей, но… это не самое страшное.

— Что ты говоришь! — заметил я язвительно.

— Утешаешься тем, что мне не веришь. То, что случилось, наверно, страшно, но ещё страшнее то, что… не случилось. Никогда.

— Не понимаю, — проговорил я неуверенно. — Правда, ничего не понимаю.

Снаут кивнул.

— Нормальный человек… Что это такое — нормальный человек? Тот, кто никогда не сделал ничего мерзкого. Так, но наверняка ли он об этом никогда не подумал? А может быть, даже не подумал, а в нём что-то подумало, появилось, десять или тридцать лет назад, может, защитился от этого, и забыл, и не боялся, так как знал, что никогда этого не осуществит. Ну, а теперь вообрази себе, что неожиданно, среди бела дня, среди других

людей, встречаешь это, воплощённое в кровь и плоть, прикованное к тебе, неистребимое, что тогда? Что будет тогда?

Я молчал.

— Станция, — сказал он тихо. — Тогда будет Станция Солярис.

— Но… что же это может быть? — спросил я нерешительно. — Ведь ни ты, ни Сарториус не убийцы.

— Но ты же психолог, Кельвин! — прервал он нетерпеливо. — У кого не было когда-нибудь такого сна? Бреда? Подумай о… о фанатике, который влюбился, ну, скажем, в лоскут грязного белья, который, рискуя шкурой, добывает мольбой и угрозами этот свой драгоценный омерзительный лоскут… Это, должно быть, забавно, а? Который одновременно стыдится предмета своего вожделения, и сходит по нему с ума, и готов отдать за него жизнь, поднявшись, быть может, до чувств Ромео и Джульетты. Такие вещи бывают. Известно ведь, что существуют вещи… ситуации… такие, что никто не отважится их реализовать вне своих мыслей… в какой-то один момент ошеломления, упадка, сумасшествия, называй это как хочешь. После этого слово становится делом. Это всё.

— Это… всё, — повторил я бессмысленно дере-

вянным голосом. В голове у меня шумело. — Но Станция? При чём здесь Станция?

— Ты что, притворяешься? — буркнул Снаут. Он смотрел на меня испытующе. — Ведь я всё время говорю о Солярисе,— только о Солярисе и ни о чём ином. Не моя вина, если это так сильно отличается от того, чего ты ожидал. Впрочем, ты пережил достаточно, чтобы по крайней мере выслушать меня до конца. Мы отправляемся в космос приготовленные ко всему, то есть к одиночеству, борьбе, страданиям и смерти. Из скромности мы не говорим этого вслух, но думаем про себя, что мы великолепны. А на самом деле, на самом деле это не всё и наша готовность оказывается недостаточной. Мы вовсе не хотим завоёвывать космос, хотим только расширить Землю до его границ. Одни планеты пустынны, как Сахара, другие покрыты льдом, как полюс, или жарки, как бразильские джунгли. Мы гуманны, благородны, мы не хотим покорять другие расы, хотим только передать им наши ценности и взамен принять их наследство. Мы считаем себя рыцарями святого Контакта. Это вторая ложь. Не ищем никого, кроме людей. Не нужно нам других миров. Нам нужно зеркало. Мы не знаем, что делать с иными мирами. Достаточно одного этого,

и он-то нас уже угнетает. Мы хотим найти собственный, идеализированный образ, это должны быть миры с цивилизацией более совершенной, чем наша. В других надеемся найти изображение нашего примитивного прошлого, в то же время по ту сторону есть что-то, чего мы не принимаем, от чего защищаемся. А ведь мы принесли с Земли не только дистиллят добродетели, героический монумент Человека! Прилетели сюда такие, какие есть в действительности, и когда другая сторона показывает нам эту действительность — не можем с этим примириться.

— Но что же это? — спросил я, терпеливо его выслушав.

— То, чего мы хотели: контакт с иной цивилизацией. Мы имеем его, этот контакт. Увеличенная, как под микроскопом, наша собственная чудовищная безобразность. Наше шутовство и позор!!! — Его голос дрожал от ярости.

— Значит, ты считаешь, что это… океан? Что это он? Но зачем? Сейчас совсем неважен механизм, но для чего? Ты серьёзно думаешь, что он хочет с нами развлечься? Или наказать нас? Это ведь всего-навсего примитивная демонология. Планета, захваченная очень большим дьяволом, который для удовлетворения своего дьявольско-

го чувства юмора подсовывает членам научной экспедиции любовниц. Ты ведь сам не веришь в этот законченный идиотизм.

— Этот дьявол вовсе не такой глупый, — пробурчал он сквозь зубы.

Я изумлённо посмотрел на него. Мне пришло в голову, что в конце концов его нервы могли не выдержать, даже если всего, что происходило на Станции, нельзя было объяснить сумасшествием. «Реактивный психоз?...» — мелькнула у меня мысль, когда он начал почти беззвучно смеяться.

— Ставишь мне диагноз? Не торопись. По сути дела ты испытал это в такой безобидной форме, что просто ничего не знаешь!

— Ага. Дьявол сжалился надо мной, — бросил я. Разговор начал мне надоедать.

— Чего ты, собственно, хочешь? Чтобы я рассказал тебе, какие планы строят против нас икс биллионов частиц метаморфной плазмы? Может быть, никаких.

— Как это никаких? — спросил я, ошеломлённый.

Снаут опять усмехнулся.

— Ты должен знать, что наука занимается только тем, как что-то делается, а не тем, почему это

делается. Как? Ну, началось это через восемь или девять дней после того эксперимента с рентгеном. Может быть, океан ответил на излучение каким-либо другим излучением, может быть, прозондировал им наши мозги и извлёк из них какие-то изолированные островки психики.

— Островки психики?

Это меня заинтересовало.

— Ну да, процессы, оторванные от всех остальных, замкнутые на себя, подавленные, приглушённые, какие-то воспоминания, очажки памяти. Он воспринял их как рецепт или план какой-то конструкции… Ты ведь знаешь, как похожи друг на друга асимметричные кристаллы хромосом и тех нуклеиновых соединений цереброцидов, которые составляют основу процессов запоминания… Ведь наследственная плазма — плазма «запоминающая». Таким образом, океан извлёк это из нас, зафиксировал, а потом… ты знаешь, что было потом. Но для чего это было сделано? Ба! Во всяком случае не для того, чтобы нас уничтожить. Это он мог сделать гораздо проще. Вообще при такой технологической свободе он может, собственно говоря, всё. Например, посылать нам двойников.

— А! — воскликнул я. — Поэтому ты испугался

в первый вечер, когда я пришёл?

— Да. Возможно. А откуда ты знаешь, что я и вправду тот добрый старый Хорёк, который прилетел сюда два года назад…

Снаут начал тихо смеяться, как будто моё ошеломление доставило ему бог знает какое удовольствие, но сразу же перестал.

— Нет, нет, — буркнул он. — И без того достаточно… Может, различий и больше, но я знаю только одно: нас с тобой можно убить.

— А их нет?

— Не советую тебе пробовать. Жуткое зрелище!

— Ничем?

— Не знаю. Во всяком случае ни ядом, ни ножом, ни верёвкой…

— Атомной пушкой?

— Ты бы попробовал?

— Не знаю. Если быть уверенным, что это не люди…

— А если в некотором смысле да? Субъективно они люди. Они совершенно не отдают себе отчёта в своём… происхождении. Ты, очевидно, это заметил?

— Да. Ну и… как это происходит?

— Регенерируют с необыкновенной скоростью.

С невозможной скоростью, прямо на глазах, говорю тебе, и снова начинают поступать так… так…

— Как что?

— Как наше представление о них, те записи в памяти по которым…

— Да. Это правда, — подтвердил я, не обращая внимания на то, что мазь стекает с моих обожжённых щёк и капает на руки.

— А Гибарян знал?… — спросил я быстро.

Он посмотрел на меня внимательно:

— Знал ли он то, что мы?

— Да.

— Почти наверняка.

— Откуда ты знаешь, он что-нибудь говорил?

— Нет. Но я нашёл у него одну книжку…

— «Малый Апокриф»?! — воскликнул я, вскакивая.

— Да. А откуда ты об этом можешь знать?… — удивился он с беспокойством, впиваясь взглядом в моё лицо.

Я остановил его жестом.

— Спокойно. Видишь ведь, что я обожжён и совсем не регенерирую. В кабине было письмо для меня.

— Что ты говоришь? Письмо? Что в нём было?

— Немного. Собственно, не письмо, а записка.

Библиографическая ссылка на соляристическое приложение и на этот «Апокриф». Что это такое?

— Старое дело. Может, и имеет со всем этим что-нибудь общее. Держи.

Он вынул из кармана переплетённый в кожу вытертый на углах томик и подал мне.

— А Сарториус?… — бросил я, пряча книжку.

— Что Сарториус? В такой ситуации каждый держится как может. Он старается быть нормальным — у него это значит официальным.

— Ну знаешь!

— Это так. Я был однажды с ним в переплёте… Не буду вдаваться в подробности, достаточно того, что на восьмерых у нас осталось пятьсот килограммов кислорода. Один за другим бросали мы повседневные дела, под конец все ходили бородатые, он один брился, чистил ботинки… Это такой человек. И, конечно, то, что он сделает сейчас, будет притворством, комедией или преступлением.

— Преступлением?

— Хорошо, пусть не преступление. Нужно придумать для этого какое-нибудь новое определение. Например, «реактивный развод». Лучше звучит?

— Ты чрезвычайно остроумен.

— Предпочёл бы, чтобы я плакал? Предложи что-нибудь.

— А, оставь меня в покое.

— Да нет, я говорю серьёзно. Ты знаешь теперь примерно столько же, сколько я. У тебя есть какой-нибудь план?

— Какой ты добрый! Я не знаю, что делать, когда… она снова появится. Должна явиться?

— Скорее всего да.

— Но как же они попадают внутрь? Ведь Станция герметична. Может быть, панцирь…

— Панцирь в порядке. Понятия не имею, как. Чаще всего мы видим «гостей», когда просыпаемся, но спать-то хотя бы изредка надо.

Он встал. Я встал за ним.

— Послушай-ка, Снаут… Речь идёт о ликвидации станции. Только ты хочешь, чтобы это шло от меня?

Он покачал головой.

— Это не так просто. Конечно, мы всегда можем сбежать хотя бы на сателлоид и оттуда послать SOS. Решат, разумеется, что мы сошли с ума, какой-нибудь санаторий на Земле, пока мы всё хорошенько не забудем, — бывают же случаи коллективного помешательства на таких изолированных базах… Может быть, это было бы не

самым плохим выходом… Сад, тишина, белые палаты, прогулки с санитарами…

Снаут говорил совершенно серьёзно, держа руки в карманах, уставившись невидящим взглядом в угол комнаты. Красное солнце уже исчезло за горизонтом, и гривастые волны расплавились в чёрной пустыне. Небо пылало. Над этим двухцветным необыкновенно унылым пейзажем плыли тучи с лиловыми кромками.

— Значит, хочешь сбежать? Или нет? Ещё нет?

Он усмехнулся:

— Непреклонный покоритель… не испробовал ещё этого, а то бы не был таким требовательным. Речь идёт не о том, чего хочется, а о том, что возможно.

— Что?

— Вот этого-то я и не знаю.

— Значит, остаёмся тут? Думаешь, найдётся средство?

Снаут посмотрел на меня, изнурённый, с шелушащейся кожей изрытого морщинами лица.

— Кто знает. Может, это окупится, — сказал он наконец. — О нём не узнаем, пожалуй, ничего, но, может быть, о нас…

Он отвернулся, взял свои бумаги и вышел. Делать мне было нечего, я мог только ждать. Я

подошёл к окну и смотрел на кроваво-чёрный океан, почти не видя его. Мне пришло в голову, что я мог бы закрыться в какой-нибудь из ракет, но я не думал об этом серьёзно, это было чересчур глупо — раньше или позже мне бы ведь пришлось выйти. Я сел у окна и вынул книжку, которую дал мне Снаут. Света было ещё достаточно, страница порозовела, комната пылала багрянцем.

Это были собранные неким Оттоном Равинтцером, магистром философии, статьи и работы неоспоримой ценности. Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа; астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии, химия имела его когда-то в алхимии, понятно, что рождение соляристики сопровождалось настоящим взрывом мыслей-чудовищ.

Книга Равинтцера содержала духовную пищу именно этого рода, впрочем, нужно сказать честно, что в предисловии он отмежёвывался от этого паноптикума. Просто он не без оснований считал, что такой сборник может быть ценным документом эпохи как для историка, так и для психолога науки.

Рапорт Бертона занимал в книге почётное место. Он состоял из нескольких частей. Первую

составляла копия его бортового журнала, весьма лаконичного.

От четырнадцати часов до шестнадцати часов сорока минут условного времени экспедиции записи были короткими и негативными.

«Высота 1000, 1200 или 800 метров, ничего не замечено, океан пуст». Это повторилось несколько раз.

Потом в 16.40: «Поднимается красный туман. Видимость 700 метров. Океан пуст».

В 17.00: «Туман становится гуще, штиль, видимость 400 метров с прояснениями. Спускаюсь на 200».

В 17.20: «Я в тумане. Высота 200. Видимость 20–40 метров. Штиль. Поднимаюсь на 400».

В 17.45: «Высота 500. Лавина тумана до горизонта. В тумане воронкообразные отверстия, сквозь которые проглядывает поверхность океана. Пытаюсь войти в одну из этих воронок».

В 17.52: «Вижу что-то вроде водоворота — выбрасывает жёлтую пену. Окружён стеной тумана. Высота 100. Спускаюсь на 20».

На этом кончались записи в бортовом журнале Бертона. Дальнейшие страницы так называемого рапорта составляла выдержка из его истории болезни, а точнее говоря, это был текст показаний,

продиктованных Бертоном и прерывавшихся вопросами членов комиссии.

«Бертон. Когда я спустился до тридцати метров, стало трудно удерживать высоту, так как в этом круглом, свободном от тумана пространстве дул прерывистый ветер. Я вынужден был всё внимание сосредоточить на управлении и поэтому некоторое время, минут 10-15, не выглядывал из кабины. Из-за этого я, против своего желания, вошёл в туман, меня бросил туда сильный порыв ветра. Это был не обычный туман, а как бы взвесь, по-моему, коллоидная, — она затянула все стёкла. Очистить их было очень трудно, взвесь оказалась очень липкой. Тем временем у меня процентов на тридцать упали обороты из-за сопротивления, которое оказывал винту этот туман, и я начал терять высоту. Я спустился очень низко и, боясь зацепиться за волны, дал полный газ. Машина держала высоту, но вверх не шла. У меня было ещё четыре патрона ракетных ускорителей. Я не использовал их, решив, что положение может ухудшиться и тогда они мне понадобятся. При полных оборотах началась очень сильная вибрация; я понял, что винт облеплен этой странной взвесью; на приборах грузоподъёмности по-прежнему были нули, и

я ничего не мог с этим поделать. Солнца я не видел с того момента, когда вошёл в туман, но в его направлении туман светился красным. Я всё ещё кружил, надеясь, что в конце концов сумею найти одно из этих свободных от тумана мест, и действительно мне это удалось через какие-нибудь полчаса. Я выскочил в открытое пространство, почти точно круглое, диаметром несколько сот метров. Его границы образовывал стремительно клубящийся туман, как бы поднимаемый мощными конвекционными потоками. Поэтому я старался держаться как можно ближе к середине „дыры“ — там воздух был наиболее спокойным. В это время я заметил перемену в состоянии поверхности океана. Волны почти полностью исчезли, а поверхностный слой этой жидкости — того, из чего состоит океан, — стал полупрозрачным с замутнениями, которые постепенно исчезали, так что через некоторое время всё полностью очистилось и я мог сквозь слой толщиной, наверное, в несколько километров смотреть вглубь. Там громоздился жёлтый ил, который тонкими полосами поднимался вверх и, всплывая на поверхность, стеклянно блестел, начинал бурлить и пениться, а потом твердел; тогда он был похож на очень густой пригоревший

сахарный сироп. Этот ил, или слизь, собирался в большие комки, вырастал над поверхностью, образовывал бугры, похожие на цветную капусту, и постепенно формировал разнообразные фигуры. Меня начало затягивать к стене тумана, и поэтому мне пришлось несколько минут рулями и оборотами бороться с этим движением, а когда я снова мог смотреть, внизу под собой увидел что-то, что напоминало сад. Да, сад. Я видел карликовые деревья, и живые изгороди, и дорожки, не настоящие, — всё это было из той же самой субстанции, которая целиком уже затвердела, как желтоватый гипс. Так это выглядело. Поверхность сильно блестела. Я опустился низко, как только смог, чтобы всё как следует рассмотреть.

Вопрос. У этих деревьев и других растений, которые ты видел, были листья?

Ответ Бертона. Нет. Просто всё это имело такой вид — как бы модель сада. Ну да. Модель. Так это выглядело. Модель, но, пожалуй, в натуральную величину. Потом всё начало трескаться и ломаться, из расщелин, которые были совершенно чёрными, волнами выдавливался на поверхность густой ил и застывал, часть стекала, а часть оставалась, и всё начало бурлить ещё сильнее, покрылось пеной, и ничего, кроме неё, я уже не

видел. Одновременно туман начал стискивать меня со всех сторон, поэтому я увеличил обороты и поднялся на триста метров.

Вопрос. Ты совершенно уверен, что то, что увидел, напоминало сад и ничто другое?

Ответ Бертона. Да. Потому что я заметил там различные детали. Помню, например, что в одном месте стояли в ряд какие-то квадратные коробки. Поздней мне пришло в голову, что это могла быть пасека.

Вопрос. Это пришло тебе в голову потом? Но не в тот момент, когда ты видел?

Ответ Бертона. Нет, потому что всё это было как из гипса. Я видел и другие вещи.

Вопрос. Какие вещи?

Ответ Бертона. Не могу сказать, какие, так как не успел их хорошенько рассмотреть. У меня было впечатление, что под некоторыми кустами лежали какие-то орудия. Они были продолговатой формы, с выступающими зубьями, как бы гипсовые отливки небольших садовых машин. Но в этом я полностью не уверен. А в том — да.

Вопрос. Ты не подумал, что это галлюцинация?

Ответ Бертона. Нет. Я решил, что это была фата моргана. О галлюцинации я не думал, так как чувствовал себя совсем хорошо, а также потому,

что никогда в жизни ничего подобного не видел. Когда я поднялся до трёхсот метров, туман подо мной был испещрён дырками, совсем как сыр. Одни из этих дыр были пусты, и я видел в них, как волнуется океан, а в других что-то клубилось. Я спустился в одно из таких отверстий и на высоте сорока метров увидел что под поверхностью океана — но совсем неглубоко — лежит стена, как бы стена огромного здания: она чётко просвечивала сквозь волны и имела ряды регулярно расположенных прямоугольных отверстий, похожих на окна. Мне даже показалось, что в некоторых окнах что-то движется. Но в этом я не совсем уверен. Затем стена начала медленно подниматься и выступать из океана. По ней целыми водопадами стекал ил и какие-то слизистые образования, такие сгущения с прожилками. Вдруг она развалилась на две части и ушла в глубину так быстро, что мгновенно исчезла. Я снова поднял машину и летел над самым туманом почти касаясь его шасси. Потом увидел следующую воронку. Она была, наверное, в несколько раз больше первой. Уже издалека я заметил плавающий предмет. Он был светлым, почти белым, и мне показалось, что это скафандр Фехнера, тем более что формой он напоминал человека. Я очень резко развернул

машину — боялся, что могу пролететь это место и уже не найду его. В это время фигура слегка приподнялась, словно она плавала или же стояла по пояс в волне. Я спешил и спустился так низко, что почувствовал удар шасси обо что-то мягкое, возможно, о гребень волны — здесь она была порядочной. Этот человек, да, это был человек, не имел на себе скафандра. Несмотря на это он двигался.

Вопрос. Видел ли ты его лицо?

Ответ Бертона. Да.

Вопрос. Кто это был?

Ответ Бертона. Это был ребёнок.

Вопрос. Какой ребёнок? Ты раньше когда-нибудь видел его?

Ответ Бертона. Нет. Никогда. Во всяком случае не помню этого. Как только я приблизился — меня отделяло от него метров сорок, может, немного больше, — заметил, что в нём есть что-то нехорошее.

Вопрос. Что ты под этим понимаешь?

Ответ Бертона. Сейчас скажу. Сначала я не знал, что это. Только немного погодя понял: он был необыкновенно большим. Гигантским, это ещё слабо сказано. Он был, пожалуй, высотой метра четыре. Точно помню, что, когда ударился шасси

о волну, его лицо находилось немного выше моего, хотя я сидел в кабине, то есть находился на высоте трёх метров от поверхности океана.

Вопрос. Если он был таким большим, то почему ты решил, что это ребёнок?

Ответ Бертона. Потому что это был очень маленький ребёнок.

Вопрос. Тебе не кажется, Бертон, что твой ответ нелогичен?

Ответ Бертона. Нет. Совсем нет. Потому что я видел его лицо. Ну, и, наконец, пропорции тела были детскими. Он показался мне… совсем младенцем. Нет, это преувеличение. Наверное, ему было два или три года. У него были чёрные волосы и голубые глаза, огромные. И он был голый. Совершенно голый, как новорождённый. Он был мокрый, скользкий, кожа у него блестела. Это зрелище подействовало на меня ужасно. Я уже не верил ни в какую фату моргану. Я видел его слишком чётко. Он поднимался и опускался на волне, но, независимо от этого, ещё и двигался. Это было омерзительно!

Вопрос. Почему? Что он делал?

Ответ Бертона. Выглядел, ну, как в каком-то музее, как кукла, но живая кукла. Открывал и закрывал рот и совершал разные движения.

Омерзительно! Это были не его движения.

Вопрос. Как ты это понимаешь?

Ответ Бертона. Я не приближался к нему слишком. Пожалуй, двадцать метров — это наиболее точная оценка. Но я сказал уже, каким он был громадным, и благодаря этому я видел его чрезвычайно чётко. Глаза у него блестели, и вообще он производил впечатление живого ребёнка, только эти движения, как если бы кто-то пробовал… как будто кто-то его изучал…

Вопрос. Постарайтесь объяснить точнее, что это значит.

Ответ Бертона. Не знаю, удастся ли мне. У меня было такое впечатление. Это было интуитивно. Я не задумывался над этим. Его движения были неестественны.

Вопрос. Хочешь ли ты сказать, что, допустим, руки двигались так, как не могут двигаться человеческие руки из-за ограничения подвижности в суставах?

Ответ Бертона. Нет. Совсем не то… Но… его движения не имели никакого смысла. Каждое движение в общем что-то значит, для чего-то служит…

Вопрос. Ты так считаешь? Движения младенца не должны что-либо значить.

Ответ Бертона. Это я знаю. Но движения младенца беспорядочные, нескоординированные. Обобщённые. А те были… есть, понял! Они были методичны. Они проделывались по очереди, группами и сериями. Как будто кто-то хотел выяснить, что этот ребёнок в состоянии сделать руками, а что — торсом и ртом. Хуже всего было с лицом, наверно, потому, что лицо наиболее выразительно, а это было… Нет, не могу этого определить. Оно было живым, да, но не человеческим. Я хочу сказать, черты лица были в полном порядке, и глаза, и цвет, и всё, но выражение, мимика — нет.

Вопрос. Были ли это гримасы? Ты знаешь, как выглядит лицо человека при эпилептическом припадке?

Ответ Бертона. Да. Я видел такой припадок. Понимаю. Нет, это было что-то другое. При эпилепсии есть схватки и судороги, а это были движения совершенно плавные и непрерывные, ловкие, если так можно сказать, мелодичные. У меня нет другого определения. Ну и лицо. С лицом было то же самое. Лицо не может выглядеть так, чтобы одна половина была весёлой, а другая — грустной, чтобы одна часть грозила или боялась, а другая — торжествовала или делала

что-то в этом роде. Но с ребёнком было именно так. Кроме того, все эти движения и мимическая игра происходили с невиданной быстротой. Я там был очень недолго, может быть, десять секунд, а может, и меньше.

Вопрос. И ты утверждаешь, что всё это успел заметить в такой короткий промежуток времени? Впрочем, откуда ты знаешь, как долго это продолжалось? Ты смотрел на часы?

Ответ Бертона. Нет. На часы я не смотрел. Но летаю уже шестнадцать лет. В моей профессии нужно уметь оценивать время с точностью до секунды. Это рефлекс. Пилот, который не может в любых условиях сориентироваться, длилось ли какое-то событие пять секунд или десять, никогда не будет многого стоить. То же самое и с наблюдением. Человек учится этому с годами схватывать всё в самые короткие промежутки времени.

Вопрос. Это всё, что ты видел?

Ответ Бертона. Нет. Но остальное и не помню так ясно. Возможно, доза оказалась для меня слишком большой. Мой мозг как бы закупорился. Туман начал спускаться, и я был вынужден пойти вверх. Вынужден был, но не помню, как и когда это сделал. Первый раз в жизни чуть не разбился. У меня так дрожали руки, что я не мог как следует

удержать штурвал. Кажется, я что-то кричал и вызывал Базу, хотя знал, что связи нет.

Вопрос. Пробовал ли ты тогда вернуться?

Ответ Бертона. Нет. Потому что потом, когда я набрал высоту, подумал, что, может быть, в какой-нибудь из этих дыр находится Фехнер. Я знаю, это звучит бессмысленно. Но я так думал. Раз уж происходят такие вещи, подумал я, то, может быть, и Фехнера удастся найти. Поэтому я решил влезать во все дыры, какие только замечу. Но на третий раз, когда и ушёл вверх, я понял, что после того, что увидел, ничего не сделаю. Я больше не мог. Я почувствовал слабость, и меня вытошнило. Раньше я не знал, что это такое. Меня никогда в жизни не тошнило.

Вопрос. Это был признак отравления, Бертон.

Ответ Бертона. Возможно. Не знаю. Но того, что я увидел в третий раз, я не выдумал, этого не объяснить отравлением.

Вопрос. Откуда ты можешь об этом знать?

Ответ Бертона. Это не было галлюцинацией. Галлюцинации — это ведь то, что создаёт мой собственный мозг, так?

Вопрос. Так.

Ответ Бертона. Ну вот. А такого он не мог создать. Никогда в это не поверю. Не способен на

это.

Вопрос. Расскажите поточнее, что это было, хорошо?

Ответ Бертона. Сначала я должен узнать, как будет расцениваться то, что я уже рассказал.

Вопрос. Какое это имеет значение?

Ответ Бертона. Для меня — принципиальное. Я сказал, что увидел такое, чего никогда не забуду. Если комиссия решит, что рассказанное мной хотя бы на один процент правдоподобно, так что нужно начать соответствующее изучение этого океана, то скажу всё. Но если это будет признано комиссией за какие-то мои видения, не скажу ничего.

Вопрос. Почему?

Ответ Бертона. Потому что содержание моих галлюцинаций, каким бы оно ни было, моё личное дело. Содержание же моих исследований на Солярисе — нет.

Вопрос. Значит ли это, что ты отказываешься от всяких дальнейших ответов до принятия решения компетентными органами экспедиции? Ты ведь должен понимать, что комиссия не уполномочена немедленно принять решение.

Ответ Бертона. Да.

На этом кончался первый протокол. Был ещё

фрагмент другого, записанного на одиннадцать дней позднее.

«Председательствующий… принимая всё это во внимание, комиссия, состоящая из трёх врачей, трёх биологов, одного физика, одного инженера-механика и заместителя начальника экспедиции, пришла к убеждению, что сообщённые Бертоном сведения представляют собой содержание галлюцинаторного комплекса, вызванного влиянием отравления атмосферой планеты, с симптомами помрачения, которым сопутствовало возбуждение ассоциативных зон коры головного мозга, и что этим сведениям в действительности ничего или почти ничего не соответствует.

Бертон. Простите. Что значит „ничего или почти ничего“? Что это „почти ничего“? Насколько оно велико?

Председ. Я ещё не кончил. Отдельно запротоколировано votum separatum (частное мнение) доктора физики Арчибальда Мессенджера, который заявил, что рассказанное Бертоном могло, по его мнению, происходить в действительности и нуждается в добросовестном изучении. Это всё.

Бертон. Я повторяю свой вопрос.

Председ. Это очень просто. „Почти ничего“ означает, что какие-то реальные явления могли

вызвать твои галлюцинации, Бертон. Самый нормальный человек может во время ветреной погоды принять качающийся куст за какое-то существо. Что же говорить о чужой планете, да ещё когда мозг наблюдателя находится под действием яда. В этом нет для тебя ничего оскорбительного, Бертон. Каково же в связи с вышеуказанным твоё решение?

Бертон. Мне бы хотелось сначала узнать, какие последствия будет иметь votum separatum доктора Мессенджера?

Председ. Практически никаких. Это значит, что исследования в этом направлении проводиться не будут.

Бертон. Вносится ли в протокол то, что мы говорим?

Председ. Да.

Бертон. В связи с этим я хотел бы сказать, что, по моему убеждению, комиссия оскорбила не меня, я здесь не в счёт, а дух экспедиции. В соответствии с тем, что я сказал в первый раз, на дальнейшие вопросы отвечать отказываюсь.

Председ. Это всё?

Бертон. Да. Но я хотел бы увидеться с доктором Мессенджером. Это возможно?

Председ. Конечно.»

На этом закончился второй протокол. Внизу страницы было помещено напечатанное мелким шрифтом примечание, сообщающее, что доктор Мессенджер на следующий день провёл трёхчасовую конфиденциальную беседу с Бертоном, после чего обратился в Совет экспедиции, снова настаивая на изучении показаний пилота.

Он утверждал, что за такое решение говорят новые, дополнительные данные, которые представил ему Бертон, но которые он сможет предъявить только после принятия Советом положительного решения. Совет, в который входили Шеннон, Тимолис и Трахье, отнёсся к этому предложению отрицательно, на том дело и кончилось.

Книга содержала ещё фотокопию одной страницы письма, найденного в посмертных бумагах Мессенджера. Это был, вероятно, черновик; Равинтцеру не удалось выяснить, было ли послано это письмо и имело ли это какие-нибудь последствия.

«…её невероятная тупость, — начинался текст. — Заботясь о своём авторитете, Совет, а говоря конкретно Шеннон и Тимолис (так как голос Трахье ничего не значит), отверг моё требование. Сейчас я обращаюсь непосредственно в Инсти-

тут, но, сам понимаешь, это бессильный протест. Связанный словом, я не могу, к сожалению, сообщить тебе то, что рассказал мне Бертон. На решение Совета, очевидно, повлияло то, что с открытием пришёл человек без всякой учёной степени, хотя не один исследователь мог бы позавидовать этому пилоту, его присутствию духа и таланту наблюдателя. Очень прошу тебя, пошли мне с обратной почтой след. данные:

1) биографию Фехнера, начиная с детства;

2) всё, что тебе известно о его родственниках и родственных отношениях, по-видимому, он оставил сиротой маленького ребёнка;

3) фотографию местности, где он воспитывался.

Мне хотелось бы ещё рассказать тебе, что я обо всём этом думаю. Как ты знаешь, через некоторое время после вылета Фехнера и Каруччи в центре красного солнца образовалось пятно, которое своим корпускулярным излучением нарушило радиосвязь, главным образом, по данным сателлоида, в южном полушарии, то есть там, где находилась наша База. Фехнер и Каруччи отдалились от Базы больше всех остальных исследовательских групп.

Такого густого и упорно держащегося тумана

при полном штиле мы не наблюдали до дня катастрофы за всё время пребывания на планете.

Думаю, что то, что видел Бертон, было частью операции „Человек“, проводящейся этим липким чудовищем. Истинным источником всех существ, замеченных Бертоном, был Фехнер — его мозг, во время какого-то непонятного для нас «психического вскрытия»; речь шла об экспериментальном воспроизведении, о реконструкции некоторых (вероятно, наиболее устойчивых) следов его памяти.

Я знаю, что это звучит фантастично, знаю, что могу ошибиться. Прошу тебя мне помочь: я сейчас нахожусь на Аларике и здесь буду ожидать твоего ответа.

Твой А.»

Я читал с трудом, уже совсем стемнело, и книжка в моей руке стала серой. Наконец буквы начали сливаться, но пустая часть страницы свидетельствовала, что я дошёл до конца этой истории, которая в свете моих собственных переживаний казалась весьма правдоподобной. Я обернулся к окну. Пространство за ним было тёмно-фиолетовым, над горизонтом тлело ещё несколько облаков, похожих на угасающий уголь. Океан, покрытый тьмой, не был виден. Я слышал слабый

шелест бумажных полосок над вентиляторами.

Нагретый воздух с лёгким запахом озона, казалось, застыл. Абсолютная тишина наполняла Станцию. Я подумал, что в нашем решении остаться нет ничего героического. Эпоха героической борьбы, смелых экспедиций, ужасных смертей, таких хотя бы, как гибель первой жертвы океана, Фехнера, давно уже кончилась. Меня уже почти не интересовало, кто «гости» Снаута или Сарториуса. «Через некоторое время, — подумал я, — мы перестанем стыдиться друг друга и замыкаться в себе. Если мы не сможем избавиться от „гостей“, то привыкнем к ним и будем жить с ними, а если их создатель изменит правила игры, мы приспособимся и к новым, хотя некоторое время будем мучиться, метаться, а может быть, даже тот или другой покончит с собой, но в конце концов всё снова придёт в равновесие».

Комнату наполняла темнота, сейчас очень похожая на земную. Уже только контуры умывальника и зеркала белели во мраке. Я встал, на ощупь нашёл клочок ваты на полке, обтёр влажным тампоном лицо и лёг навзничь на кровать. Где-то надо мной, похожий на трепетание бабочки, поднимался и пропадал шелест у вентилятора. Я не видел даже окна, всё скрыл мрак,

полоска неведомо откуда идущего тусклого света висела передо мной, я не знаю даже, на стене или в глубине пустыни, там, за окном. Я вспомнил, как ужаснул меня в прошлый раз пустой взор соляристического пространства, и почти усмехнулся. Я не боялся его. Ничего не боялся. Я поднёс к глазам руку. Фосфоресцирующим веночком цифр светился циферблат часов. Через час должно было взойти голубое солнце. Я наслаждался темнотой и глубоко дышал, пустой, свободный от всяких мыслей.

Пошевелившись, я почувствовал прижатую к бедру плоскую коробку магнитофона. Да. Гибарян. Его голос, сохранившийся на плёнке. Мне даже в голову не пришло воскресить его, послушать. Это было всё, что я мог для него сделать.

Я взял магнитофон, чтобы спрятать его под кровать, и услышал шелест и слабый скрип открывающейся двери.

— Крис?… — донёсся до меня тихий голос, почти шёпот. — Ты здесь, Крис? Так темно.

— Это ничего, — сказал я. — Не бойся. Иди сюда.

Совещание

Я лежал на спине без единой мысли. Темнота, заполняющая комнату, сгущалась. Я слышал шаги. Стены пропадали. Что-то возносилось надо мной всё выше, безгранично высоко. Я застыл, пронизанный тьмой, объятый ею без прикосновения. Я чувствовал её упругую прозрачность. Где-то очень далеко билось сердце. Я сосредоточил всё внимание, остатки сил на ожидании агонии. Она не приходила. Я только становился всё меньше, а невидимое небо, невидимые горизонты, пространство, лишённое форм, туч, звёзд, отступая и увеличиваясь, делало меня своим центром. Я силился втиснуться в то, на чём лежал, но подо мной уже не было ничего и мрак ничего уже не скрывал. Я стиснул руки, закрыл ими лицо. Оно исчезло. Руки прошли насквозь. Хотелось кричать, выть…

Комната была серо-голубой. Мебель, полки, углы стен — всё как бы нарисованное широкими матовыми мазками, всё бесцветно — одни только контуры. Прозрачная, жемчужная белизна за окном. Я был совершенно мокрый от пота. Я

взглянул в её сторону, она смотрела на меня.

— У тебя затекла рука?

— Что?

Она подняла голову. Её глаза были того же цвета, что и комната, серые, сияющие между чёрными ресницами. Я почувствовал тепло её шёпота, прежде чем понял слова.

— Нет. А, да.

Я обнял её за плечо. От этого прикосновения по руке пробежали мурашки. Я медленно обнял её другой рукой.

— Ты видел плохой сон?

— Сон? Да, сон. А ты не спала?

— Не знаю. Может, и нет. Мне не хочется спать. Но ты спи. Почему ты так смотришь?

Я прикрыл глаза. Её сердце билось рядом с моим, чётко ритмично. «Бутафория», — подумал я. Но меня ничего не удивляло, даже собственное безразличие. Страх и отчаяние были уже позади. Я дотронулся губами до её шеи, потом поцеловал маленькое гладкое, как внутренность ракушки, углубление у горла. И тут бился пульс.

Я поднялся на локте. Никакой зари, никакой мягкости рассвета, горизонт обнимало голубое электрическое зарево, первый луч пронзил комнату, как стрела, всё заиграло отблесками, ра-

дужные огни изламывались в зеркале, в дверных ручках, в никелированных трубках, казалось, что свет ударяет в каждый встреченный предмет, как будто хочет что-то освободить, взорвать тесное помещение. Уже невозможно было смотреть. Я отвернулся. Зрачки Хари стали совсем маленькими.

— Разве уже день? — спросила она приглушённым голосом.

Это был полусон, полуявь.

— На этой планете всегда так, моя дорогая.

— А мы?

— Что мы?

— Долго здесь будем?

Мне хотелось смеяться. Но когда глухой звук вырвался из моей груди, он не был похож на смех.

— Думаю, что достаточно долго. Ты против?

Её веки дрожали. Хари смотрела на меня внимательно. Она как будто подмигнула мне, а может быть, мне это показалось. Потом подтянула одеяло, и на её плече порозовела маленькая треугольная родинка.

— Почему ты так смотришь?

— Ты очень красивая.

Она улыбнулась. Но это была только вежли-

вость, благодарность за комплимент.

— Правда? Ты смотришь, как будто… как будто…

— Что?

— Как будто чего-то ищешь.

— Не выдумывай.

— Нет, как будто думаешь, что со мной что-то случилось или я не рассказала тебе чего-то.

— Откуда ты это взяла?

— Раз уж ты так отпираешься, то наверняка. Ладно, как хочешь.

За пламенеющими окнами родился мёртвый голубой зной. Заслонив рукой глаза, я поискал очки. Они лежали на столе. Я присел на постели, надел их и увидел её отражение в зеркале. Хари чего-то ждала. Когда я снова уселся рядом с ней, она усмехнулась:

— А мне?

Я вдруг сообразил:

— Очки?

Я встал и начал рыться в ящиках, на столе, под окном. Нашёл две пары, правда, обе слишком большие, и подал ей. Она померила одни и другие. Они свалились у неё до половины носа.

В этот момент заскрежетали заслонки. Мгновение, и внутри Станции, которая, как черепаха,

спряталась в своей скорлупе, наступила ночь. На ощупь я снял с неё очки и вместе со своими положил под кровать.

— Что будем делать? — спросила она.

— То, что делают ночью, — спать…

— Крис?

— Что?

— Может, сделать тебе новый компресс?

— Нет, не нужно. Не нужно… дорогая.

Сказав это, сам не понимаю почему, я вдруг обнял в темноте её тонкие плечи и, чувствуя их дрожь, поверил в неё. Хотя не знаю. Мне вдруг показалось, что это я обманываю её, а не она меня, что она настоящая.

Я засыпал потом ещё несколько раз, и всё время меня вырывали из дрёмы судороги, бешено колотящееся сердце медленно успокаивалось, я прижимал её к себе, смертельно усталый, она заботливо дотрагивалась до моего лица, лба, очень осторожно проверяя, нет ли у меня жара. Это была Хари. Самая настоящая. Другой быть не могло.

От этой мысли что-то во мне изменилось. Я перестал бороться и почти сразу же заснул.

Разбудило меня лёгкое прикосновение. Лоб был охвачен приятным холодом. На лице лежало что-то влажное и мягкое. Потом это медленно

поднялось, и я увидел склонившуюся надо мной Хари. Обеими руками она выжимала марлю над фарфоровой мисочкой. Сбоку стояла бутылка с жидкостью от ожогов. Она улыбнулась мне.

— Ну и спишь же ты, — сказала она, снова положив марлю мне на лоб. — Болит?

— Нет.

Я пошевелил кожей лба. Действительно, ожоги сейчас совершенно не чувствовались.

Хари сидела на краю постели, закутавшись в мужской купальный халат, белый, с оранжевыми полосами, её чёрные волосы рассыпались по воротнику. Рукава она подвернула до локтей, чтобы они не мешали.

Я был дьявольски голоден, прошло уже часов двадцать, как у меня ничего не было во рту. Когда Хари закончила процедуры, я встал. Вдруг мой взгляд упал на два лежащих рядом одинаковых платья с красными пуговицами, первое, которое я помог ей снять, разрезав декольте, и второе, в котором пришла вчера. На этот раз она сама распорола шов ножницами. Сказала, что, наверное, замок заело.

Эти два одинаковых платьица были самым страшным из всего, что я до сих пор пережил. Хари возилась у шкафика с лекарствами, наводя

в нём порядок. Я украдкой отвернулся от неё и до крови укусил себе руку. Всё ещё глядя на эти два платьица, вернее, на одно и то же, повторённое два раза, я начал пятиться к дверям. Вода по-прежнему с шумом текла из крана. Я отворил дверь, тихо выскользнул в коридор и осторожно её закрыл.

Из комнаты доносился слабый шум воды, звяканье бутылок. Вдруг эти звуки прекратились. В коридоре горели длинные потолочные лампы, неясное пятно отражённого света лежало на поверхности двери. Я стиснул зубы и ждал, вцепившись в ручку, хотя не надеялся, что сумею её удержать. Резкий рывок чуть не выдернул её у меня из руки, но дверь не отворилась, только задрожала и начала ужасно трещать. Ошеломлённый, я выпустил ручку и отступил. С дверью происходило что-то невероятное: её гладкая пластмассовая поверхность изогнулась, как будто вдавленная с моей стороны внутрь, в комнату. Покрытие начало откалываться мелкими кусочками, обнажая сталь косяка, который напрягался всё сильнее. Вдруг я понял: вместо того чтобы толкнуть дверь, которая открывалась в коридор она силилась отворить её на себя. Отблеск света искривился на белой поверхности, как в вогнутом

зеркале, раздался громкий хруст, и монолитная, до предела выгнутая плита треснула. Одновременно ручка, вырванная из гнезда, влетела в комнату. Сразу в отверстии показались окровавленные руки и, оставляя красные следы на лаке, продолжали тянуть, дверная плита сломалась пополам, косо повисла на петлях, и оранжево-белое существо с посиневшим мёртвым лицом бросилось мне на грудь, заходясь от слёз.

Если бы это зрелище меня не парализовало, я бы попытался убежать. Хари судорожно хватала воздух и билась головой о моё плечо, а потом стала медленно оседать на пол. Я подхватил её, отнёс в комнату, протиснувшись мимо расколотой дверной створки, и положил на кровать. Из-под её сломанных ногтей сочилась кровь. Когда она повернула руку, я увидел содранную до мяса ладонь. Я взглянул ей в лицо, открытые глаза смотрели сквозь меня без всякого выражения.

— Хари!

Она ответила невнятным бормотанием.

Я приблизил палец к её глазу. Веко опустилось. Я подошёл к шкафу с лекарствами. Кровать скрипнула. Я обернулся. Она сидела выпрямившись, глядя со страхом на свои окровавленные руки.

— Крис, — простонала она, — я… я… что со

мной?

— Поранилась, выламывая дверь, — сказал я сухо.

У меня что-то случилось с губами, особенно с нижней, как будто по ней бегали мурашки. Пришлось её прикусить.

Хари с минуту разглядывала свисающие с косяка зазубренные куски пластмассы, затем посмотрела на меня. Подбородок у неё задрожал, я видел усилие, с которым она пыталась побороть страх.

Я отрезал кусок марли, вынул из шкафа присыпку на рану и возвратился к кровати. Всё, что я нёс, вывалилось из моих внезапно ослабевших рук, стеклянная баночка с желатиновой пенкой разбилась, но я даже не наклонился. Лекарства были уже не нужны.

Я поднял её руку. Засохшая кровь ещё окружала ногти тонкой каёмкой, но все раны уже исчезли, а ладони затягивала молодая розовая кожа. Шрамы бледнели просто на глазах.

Я сел, погладил её по лицу и попытался ей улыбнуться. Не могу сказать, что мне это удалось.

— Зачем ты это сделала, Хари?

— Нет. Это… я?

Она показала глазами на дверь.

— Да. Не помнишь?

— Нет. Я увидела, что тебя нет, страшно перепугалась и…

— И что?

— Начала тебя искать, подумала, что ты, может быть, в ванной…

Только теперь я увидел, что шкаф сдвинут в сторону и открывает вход в ванную.

— А потом?

— Побежала к двери.

— Ну и?…

— Не помню. Что-нибудь должно было случиться?

— Что?

— Не знаю.

— А что ты помнишь? Что было потом?

— Сидела здесь, на кровати.

— А как я тебя принёс, не помнишь?

Она колебалась. Уголки губ опустились вниз, лицо напряглось.

— Мне кажется… Может быть… Сама не знаю.

Она опустила ноги на пол и встала. Подошла к разбитым дверям.

— Крис!

Я взял её сзади за плечи. Она дрожала. Вдруг она быстро обернулась и заглянула в мои глаза.

— Крис, — шептала она. — Крис.

— Успокойся.

— Крис, а если… Крис, может быть, у меня эпилепсия?

Эпилепсия, боже милостивый! Мне хотелось смеяться.

— Ну что ты, дорогая. Просто двери, знаешь, тут такие, ну, такие двери…

Мы покинули комнату, когда с протяжным скрежетом открылись наружные заслонки, показав проваливающийся в океан солнечный диск, и направились в небольшую кухоньку в противоположном конце коридора. Мы хозяйничали вместе с Хари, перетряхивая содержимое шкафчиков и холодильников. Я быстро заметил, что она не слишком утруждала себя стряпнёй и умела немного больше, чем открывать консервные банки, то есть столько же, сколько я. Я проглотил содержимое двух таких банок и выпил бесчисленное количество чашек кофе. Хари тоже ела, но так, как иногда едят дети, не желая делать неприятное взрослым, даже без принуждения, но механически и безразлично.

Потом мы пошли в маленькую операционную, рядом с радиостанцией. У меня был один план. Я сказал, что хочу на всякий случай её осмотреть,

уселся на раскладное кресло и достал из стерилизатора шприц и иглу. Я знал, где что находится, почти на память, так нас вымуштровали на Земле. Я взял каплю крови из её пальца, сделал мазок, высушил в испарителе и в высоком вакууме распылил на нём ионы серебра.

Вещественность этой работы действовала успокаивающе. Хари, отдыхая на подушках разложенного кресла, оглядывала заставленную приборами операционную.

Тишину нарушил прерывистый зуммер внутреннего телефона. Я поднял трубку.

— Кельвин, — сказал я, не спуская глаз с Хари, которая с какого-то момента была совершенно апатична, как будто изнурённая переживаниями последних часов.

— Ты в операционной? Наконец-то! — услышал я вздох облегчения.

Говорил Снаут. Я ждал, прижав трубку к уху.

— У тебя «гость», а?

— Да.

— И ты занят?

— Да.

— Небольшое исследование, гм?

— А что? Хочешь сыграть партию в шахматы?

— Перестань, Кельвин. Сарториус хочет с тобой

увидеться. Я имею в виду — с нами.

— Вот это новость! — Я был поражён. — А что с… — я остановился и кончил: — Ты один?

— Нет. Я неточно выразился. Он хочет поговорить с нами. Мы соединимся втроём по визиофонам, только заслони экран.

— Ах так! Почему же он просто мне не позвонил? Стесняется?

— Что-то в этом роде, — невнятно буркнул Снаут. — Ну так как?

— Речь идёт о том, чтобы поговорить? Скажем, через час. Хорошо?

— Хорошо.

Я видел на экране только его лицо, не больше ладони. Некоторое время он внимательно смотрел мне в глаза. Наконец сказал с некоторым колебанием:

— Ну, как ты?

— Сносно. А ты как?

— Думаю, немного хуже, чем ты. Ты не мог бы…

— Хочешь прийти ко мне? — догадался я. Посмотрел через плечо на Хари. Она склонила голову на подушку и лежала, закинув ногу на ногу, подбрасывая жестом безотчётной скуки серебристый шарик, которым оканчивалась це-

почка у ручки кресла.

— Оставь это, слышишь? Оставь, ты! — донёсся до меня громкий голос Снаута.

Я увидел на экране его профиль. Остального я не слышал: он закрыл рукой микрофон, — но видел его шевелящиеся губы.

— Нет, не могу прийти. Может, потом. Итак, через час, — быстро проговорил он, и экран погас.

Я повесил трубку.

— Кто это был? — равнодушно спросила Хари.

— Да тут один… Снаут. Кибернетик. Ты его не знаешь.

— Долго ещё?

— А что, тебе скучно? — спросил я.

Я вложил первый из серии препаратов в кассету нейтринного микроскопа и по очереди нажал цветные ручки выключателей. Глухо загудели силовые поля.

— Развлечений тут не слишком много, и если моего скромного общества тебе окажется недостаточно, будет плохо, — говорил я рассеянно, делая большие паузы между словами, одновременно стиснув обеими руками большую чёрную головку, в которой блестел окуляр микроскопа, и вдавив глаза в мягкую резиновую раковину. Хари сказала что-то, что до меня не дошло. Я видел

как будто с большой высоты огромную пустыню, залитую серебряным блеском. На ней лежали покрытые лёгкой дымкой как бы потрескавшиеся и выветрившиеся плоские скалистые холмики. Это были красные тельца. Я сделал изображение резким и, не отрывая глаз от окуляров, всё глубже погружался в пылающее серебро. Одновременно левой рукой я вращал регулировочную ручку столика и, когда лежащий одиноко, как валун, шарик оказался в перекрестье чёрных нитей, прибавил увеличение. Объектив как бы наезжал на деформированный с провалившейся серединой эритроцит, который казался уже кружочком скального кратера с чёрными резкими тенями в провалах кольцевой кромки. Потом кромка, ощитинившаяся кристаллическим налётом ионов серебра, ушла за границу поля микроскопа. Появились мутные, словно просвечивающие сквозь переливающуюся воду контуры белка. Поймав в чёрное перекрестье одно из уплотнений белковых обломков, я слегка подтолкнул рычаг увеличения, потом ещё; вот-вот должен был показаться конец этой дороги вглубь, приплюснутая тень одной молекулы заполнила весь окуляр, изображение прояснилось, — сейчас!

Но ничего не произошло. Я должен был увидеть

дрожащие пятнышки атомов, похожие на колышущийся студень, но их не было. Экран пылал девственным серебром. Я довёл рычаг до конца. Гудение усилилось, стало гневным, но я ничего не видел. Повторяющийся звонкий сигнал давал мне знать, что аппаратура перегружена. Я ещё раз взглянул в серебряную пустоту и выключил ток.

Я взглянул на Хари. Она как раз открывала рот в зевке, который ловко заменила улыбкой.

— Ну, как там со мной? — спросила она.

— Очень хорошо, — ответил я. — Думаю, что… лучше быть не может.

Я всё смотрел на неё, снова чувствуя эти проклятые мурашки в нижней губе. Что же произошло? Что это значило? Это тело, с виду такое слабое и хрупкое — и в сущности неистребимое, — в основе своей оказалось состоящим из… ничего? Я ударил кулаком цилиндрический корпус микроскопа. Может быть, какая-нибудь неисправность? Может быть, не фокусируются поля?… Нет, я знал, что аппаратура в порядке. Я спустился по всем ступенькам: клетки, белковый конгломерат, молекулы — всё выглядело точно так же, как в тысячах препаратов, которые я видел. Но последний шаг вниз вёл в никуда.

Я взял у неё кровь из вены, перелил в мерный

цилиндр, разделил на порции и приступил к анализу. Он занял у меня больше времени, чем я предполагал, я немного утратил навык. Реакции были в норме. Все. Хотя, пожалуй…

Я выпустил каплю концентрированной кислоты на красную бусинку. Капля задымилась, посерела, покрылась налётом грязной пены. Разложение. Денатурация. Дальше, дальше! Я потянулся за пробиркой. Когда я снова взглянул на каплю, тонкое стекло чуть не выпало у меня из рук.

Под слоем грязной накипи, на самом дне пробирки, снова нарастала тёмно-красная масса. Кровь, сожжённая кислотой, восстанавливалась! Это была бессмыслица! Это было невозможно!

— Крис! — услышал я откуда-то очень издалека. — Телефон. Крис!

— Что? Ах да, спасибо.

Телефон звонил уже давно, но я только теперь его услышал. Я поднял трубку.

— Кельвин.

— Снаут. Я включил линию так, что мы можем говорить все трое одновременно.

— Приветствую вас, доктор Кельвин, — раздался высокий, носовой голос Сарториуса.

Он звучал так, как будто его владелец вступал

на опасно прогибающиеся подмостки, подозрительный, бдительный и наружно спокойный.

— Моё почтение, доктор, — ответил я.

Мне хотелось смеяться, но я не был уверен, что причины этой весёлости достаточно ясны для меня, чтобы я мог себе её позволить. В конце концов над чем я мог смеяться? Я что-то держал в руке: пробирку с кровью. Я встряхнул её. Кровь уже свернулась. Может быть, всё, что было перед этим, только галлюцинация? Может быть, мне только показалось?

— Мне хотелось сообщить коллегам некоторые соображения, связанные с… э… фантомами, — я одновременно слышал и не слышал Сарториуса. Голос как бы пробивался к моему сознанию. Я защищался от этого голоса, всё ещё уставившись в пробирку с загустевшей кровью.

— Назовём их существами F, — быстро подсказал Снаут.

— А, превосходно.

Посредине экрана темнела вертикальная линия, показывающая, что я одновременно принимаю два канала, по обе стороны от неё должны были находиться лица моих собеседников. Стекло было тёмным, и только узкий ободок света вдоль рамки говорил, что аппаратура действует,

но экраны чем-то заслонены.

— Каждый из нас проводил разнообразные исследования… — Снова та же самая осторожность в носовом голосе говорящего. Минута тишины. — Может быть, сначала мы обменяемся нашими сведениями, а затем я мог бы сообщить то, что установил лично… Может быть, вы начнёте, доктор Кельвин…

— Я?

Вдруг я почувствовал взгляд Хари. Я положил пробирку на стол, так что она закатилась под штатив со стеклом, и уселся на высокий треножник, пододвинув его к себе ногой. В первый момент я хотел отказаться, но неожиданно для самого себя сказал:

— Хорошо. Небольшое собеседование? Хорошо! Я сделал совсем мало, но могу сказать. Один гистологический препарат и парочка реакций. Микрореакций. У меня сложилось впечатление, что…

До этого момента я понятия не имел, что говорить. Внезапно меня прорвало:

— Всё в норме, но это камуфляж. Маска. Это в некотором смысле суперкопия: воспроизведение более чёткое, чем оригинал. Это значит, что там, где у человека мы находим конец зернистости,

конец структурной делимости, здесь дорога ведёт дальше благодаря применению субатомной структуры.

— Сейчас. Сейчас. Как вы это понимаете? — спросил Сарториус.

Снаут не подавал голоса. А может быть, это его учащённое дыхание раздавалось в трубке? Хари посмотрела в мою сторону. Я понял, что в своём возбуждении последние слова почти выкрикнул. Придя в себя, я сгорбился на своём неудобном табурете и закрыл глаза. Как это выразить?

— Последним элементом конструкции наших тел являются атомы. Предполагаю, что существа F построены из частиц меньших, чем обычные атомы. Гораздо меньших.

— Из мезонов? — подсказал Сарториус. Он вовсе не был удивлён.

— Нет, не из мезонов… Мезоны удалось бы обнаружить. Разрешающая способность этой аппаратуры здесь у меня, внизу, достигает десяти в минус двадцатой ангстрем. Верно? Но ничего не видно даже при максимальном усилении. Следовательно, это не мезоны. Пожалуй, скорее нейтрино.

— Как вы себе это представляете? Ведь нейтринные системы нестабильны…

— Не знаю. Я не физик. Возможно, их стабилизирует какое-то силовое поле. Я в этом не разбираюсь. Во всяком случае если всё так, как я говорю, то структуру составляют частицы примерно в десять тысяч раз меньшие, чем атомы. Но это не всё! Если бы молекулы белка и клетки были построены непосредственно из этих «микроатомов», то они должны были бы быть соответственно меньше. И красные кровяные тельца тоже, и ферменты, всё, но ничего подобного нет. Из этого следует, что все белки, клетки, ядра клеток только маска! Действительная структура, ответственная за функционирование «гостя», скрыта гораздо глубже.

— Кельвин! — почти крикнул Снаут.

Я в ужасе остановился. Сказал «гостя»? Да, но Хари не слышала этого. Впрочем, она всё равно бы не поняла. Она смотрела в окно, подперев голову рукой, её тонкий чистый профиль вырисовывался на фоне пурпурной зари. Трубка молчала. Я слышал только далёкое дыхание.

— Что-то в этом есть, — буркнул Снаут.

— Да, возможно, — добавил Сарториус. — Только здесь возникает то препятствие, что океан не состоит из этих гипотетических частиц Кельвина. Он состоит из обычных.

— Может быть, он в состоянии синтезировать и такие, — заметил я.

Я почувствовал неожиданную апатию. Этот разговор не был даже смешон. Он был не нужен.

— Но это объяснило бы необыкновенную сопротивляемость, — пробурчал Снаут. — И темп регенерации. Может быть, даже источник энергии находится там, в глубине, ему ведь есть не нужно…

— Прошу слова, — отозвался Сарториус.

Я не выносил его. Если бы он по крайней мере не выходил из своей выдуманной роли!

— Я хочу затронуть вопросы мотивировки. Мотивировки появления существ F. Я задался бы вопросом: чем являются существа F? Это не человек и не копия определённого человека, а лишь материализованная проекция того, что относительно данного человека содержит наш мозг.

Чёткость этого определения поразила меня. Этот Сарториус, несмотря на всю свою антипатичность, не был, однако, глуп.

— Это верно, — вставил я. — Это объясняет даже, почему появились лю… существа такие, а не иные. Были выбраны самые порочные следы памяти, наиболее изолированные от всех других, хотя, собственно, ни один такой след не может

быть полностью обособлен и в ходе его «копирования» были или могли быть захвачены остатки других следов, случайно находящихся рядом, вследствие чего пришелец выказывает бóльшие познания, чем могла обладать особа, повторением которой должен быть…

— Кельвин! — снова воскликнул Снаут.

Меня поразило, что только он реагировал на мои неосторожные слова. Сарториус, казалось, не опасался их. Значило ли это, что его «гость» от природы менее проницателен, чем «гость» Снаута? На секунду родился образ какого то карликового кретина, который живёт рядом с учёным доктором Сарториусом.

— Да, да. Мы тоже заметили, — заговорил он в этот момент. — Теперь что касается мотивировки появления существ F. До определённой границы они ведут себя так, как, действительно вели бы себя… поступали бы…

Он не мог выкарабкаться.

— Оригиналы, — быстро подсказал Снаут.

— Да, оригиналы. Но когда ситуация превышает возможности среднего… э… оригинала, наступает как бы «выключение сознания» существа F и непосредственно проявляются иные действия, нечеловеческие…

— Это верно, — сказал я, — но таким способом мы только составляем каталог поведения этих… этих существ и больше ничего. Это совершенно бесплодно.

— Я в этом не уверен, — запротестовал Сарториус.

Внезапно я понял, чем он меня так раздражал: он не разговаривал, а выступал, совершенно так же, как на заседаниях в Институте. Видно, иначе он не умел.

— Тут в игру входит вопрос индивидуальности. Океан полностью лишён такого понятия. Так должно быть. Мне кажется, прошу прощения, коллеги, что эта для нас… э… наиболее шокирующая сторона эксперимента целиком ускользает от него, как находящаяся за границей его понимания.

— Вы считаете, что это не преднамеренно?… — спросил я.

Это утверждение немного ошеломило меня, но, поразмыслив, я признал, что исключить его невозможно.

— Да. Я не верю ни в какое вероломство, злорадство, желание уязвить наиболее чувствительным образом… как это делает коллега Снаут.

— Я вовсе не приписываю ему человеческих

ощущений, чувств, — первый раз слово взял Снаут. — Но, может, ты скажешь, как объяснить эти постоянные возвращения?

— Возможно, включена какая-нибудь установка, которая действует по кольцу, как граммофонная пластинка, — сказал я не без скрытого желания досадить Сарториусу.

— Прошу вас, коллеги, не разбрасываться, — объявил носовым голосом доктор. — Это ещё не всё, что я хотел сообщить. В нормальных условиях я считал бы, что делать даже предварительное сообщение о состоянии моих работ преждевременно, но, принимая во внимание специфическую ситуацию, я сделаю исключение. У меня сложилось впечатление, что в предположении доктора Кельвина кроется истина. Я имею в виду его гипотезу о нейтринной конструкции… Такие системы мы знаем только теоретически и не представляли, что их можно стабилизировать. Здесь появляется определённый шанс, ибо уничтожение того силового поля, которое придаёт системе устойчивость…

Немного раньше я заметил, что тот тёмный предмет, который заслонил экран на стороне Сарториуса, отодвигается: у самого верха образовалась щель, в которой шевелилось что-то

розовое. Теперь тёмная пластина внезапно упала.

— Прочь! Прочь! — раздался в трубке душераздирающий крик Сарториуса. В осветившемся неожиданно экране между борющимися с чем-то руками доктора заблестел большой золотистый, похожий на диск предмет, и всё погасло, прежде чем я успел понять, что этот золотой диск не что иное, как соломенная шляпа…

— Снаут? — позвал я, глубоко вздохнув.

— Да, Кельвин, — ответил мне усталый голос кибернетика.

В этот момент я понял, что люблю его. Я действительно предпочитал не знать, кто у него.

— Пока хватит с нас, а?

— Думаю, да, — ответил я, — Слушай, если сможешь, спустись вниз или в мою кабину, ладно? — добавил я поспешно, чтобы он не успел повесить трубку.

— Договорились, — сказал Снаут. — Но не знаю когда.

И на этом кончилась наша проблемная дискуссия.

Чудовища

Посреди ночи меня разбудил свет. Я приподнялся на локте, заслонив другой рукой глаза. Хари, завернувшись в простыню, сидела в ногах кровати, съёжившись, с лицом, закрытым волосами. Плечи её тряслись. Она беззвучно плакала.

— Хари!

Она съёжилась ещё сильней.

— Что с тобой?… Хари…

Я сел на постели, ещё не совсем проснувшись, постепенно освобождаясь от кошмара, который только что давил на меня. Девушка дрожала. Я обнял её. Она оттолкнула меня локтем.

— Любимая.

— Не говори так.

— Ну, Хари, что случилось?

Я увидел её мокрое, распухшее лицо. Большие детские слёзы катились по щекам, блестели в ямочке на подбородке, капали на простыню.

— Ты не любишь меня.

— Что тебе пришло в голову?

— Я слышала.

Я почувствовал, что моё лицо застывает.

— Что слышала? Ты не поняла, это был только…

— Нет, нет. Ты говорил, что это не я. Чтобы уходила, уходила. Ушла бы, но не могу. Я не знаю, что это. Хотела и не могу. Я такая… такая… мерзкая!

— Детка!!!

Я схватил её, прижал к себе изо всех сил, целовал руки, мокрые солёные пальцы, повторял какие-то клятвы, заклинания, просил прощения, говорил, что это был только глупый, отвратительный сон. Понемногу она успокоилась, перестала плакать, повернула ко мне голову:

— Нет, не говори этого, не нужно. Ты для меня не такой…

— Я не такой!

Это вырвалось у меня, как стон.

— Да. Не любишь меня. Я всё время чувствую это. Притворялась, что не замечаю. Думала, может, мне кажется… Нет. Ты ведёшь себя… подругому. Не принимаешь меня всерьёз. Это, был сон, правда, но снилась-то тебе я. Ты называл меня по имени. Я тебе противна. Почему? Почему?!

Я упал перед ней на колени, обнял её ноги.

— Детка…

— Не хочу, чтобы ты так говорил. Не хочу, слышишь. Никакая я не детка. Я…

Она разразилась рыданиями и упала лицом в постель. Я встал. От вентиляционных отверстий с тихим шорохом тянуло холодным воздухом. Меня начало знобить. Я накинул купальный халат, сел на кровати и дотронулся до её плеча.

— Хари, послушай. Я что-то тебе скажу. Скажу тебе правду…

Она медленно приподнялась на руках и села. Я видел, как у неё на шее под тонкой кожей бьётся жилка. Моё лицо снова одеревенело, и мне стало так холодно, как будто я стоял на морозе. В голове было совершенно пусто.

— Правду? — переспросила она. — Святое слово?

Я не сразу ответил, судорогой сжало горло. Это была наша старая клятва. Когда она произносилась, никто из нас не смел не только лгать, но и умолчать о чём-нибудь. Было время, когда мы мучились чрезмерной честностью, наивно считая, что это нас спасёт.

— Святое слово, — сказал я серьёзно, — Хари…

Она ждала.

— Ты тоже изменилась. Мы все меняемся. Но я не это хотел сказать. Действительно, похоже… что по причине, которой мы оба точно не знаем… ты не можешь меня покинуть. Но это очень хоро-

шо, потому что я тоже не могу тебя…

— Крис!

Я поднял Хари, завёрнутую в простыню, и начал ходить по комнате, укачивая её. Она погладила меня по лицу.

— Нет. Ты не изменился. Это я, — шепнула она. — Что со мной? Может быть, то?…

Она смотрела в чёрный пустой прямоугольник разбитой двери, обломки я вынес вечером на склад. «Надо будет повесить новую», — подумал я и посадил её на кровать.

— Ты когда-нибудь спишь? — спросил я, стоя над ней с опущенными руками.

— Не знаю.

— Как не знаешь? Подумай, дорогая.

— Это, пожалуй, не настоящий сон. Может, я больна. Лежу так и думаю, и знаешь…

Она опять задрожала.

— Что? — спросил я шёпотом, у меня срывался голос.

— Это очень странные мысли. Не знаю, откуда они берутся.

— Например?

«Нужно быть спокойным, что бы я ни услышал», — подумал я и приготовился к её словам, как к сильному удару.

Она беспомощно покачала головой.

— Это как-то так… вдруг…

— Не понимаю?

— Так, как будто не только во мне, но гораздо дальше, как-то… я не могу сказать. Для этого нет слов…

— Это, наверное, сны, — бросил я как бы нехотя и вздохнул с облегчением. — А теперь погаси свет, и до утра у нас не будет никаких огорчений, а утром, если нам захочется, позаботимся о новых. Хорошо?

Она протянула руку к выключателю, в комнате стало темно, я лёг в остывшую постель и почувствовал тепло её приближающегося дыхания. Обнял её.

— Сильнее, — шепнула она. И после долгого молчания: — Крис!

— Что?

— Люблю тебя.

Мне хотелось кричать.

Утро было красным. Огромный солнечный диск стоял низко над горизонтом. У порога комнаты лежало письмо. Я разорвал конверт. Хари была в ванной, я слышал, как она напевала. Время от времени она выглядывала оттуда, облепленная мокрыми волосами. Я подошёл к окну и про-

читал:

> «Кельвин, мы завязли. Сарториус за энергичные действия. Он верит, что ему удастся дестабилизировать нейтринные системы. Ему нужно для опытов некоторое количество плазмы как исходного материала. Предлагает, чтобы ты отправился на разведку и взял немного плазмы в контейнер. Поступай, как считаешь нужным, но поставь меня в известность о своём решении. У меня нет никакого мнения. Мне кажется, что у меня вообще ничего нет. Я хотел бы, чтобы ты сделал это только потому, что всё-таки это будет движение вперёд, хотя бы и мнимое. Иначе останется только позавидовать Г.
>
> Хорёк.
>
> P.S. Не входи в радиостанцию. Это ты можешь для меня сделать. Лучше позвони».

У меня сжалось сердце, когда я читал это письмо. Я внимательно просмотрел его ещё раз, разорвал и обрывки бросил в раковину. Потом начал искать комбинезон для Хари. Это было ужасно. Совсем как в прошлый раз. Но она ничего

не знала, иначе не могла бы так обрадоваться, когда я сказал ей, что должен отправиться в небольшую разведку наружу и прошу её меня сопровождать. Мы позавтракали в маленькой кухне (причём Хари снова с трудом проглотила несколько кусочков) и пошли в библиотеку.

Я хотел просмотреть литературу, касающуюся проблем поля и нейтринных систем, прежде чем сделаю то, что хочет Сарториус. Я ещё не знал, как за это взяться, но твёрдо решил контролировать его работу. Мне пришло в голову, что этот ещё не существующий нейтринный аннигилятор мог бы освободить Снаута и Сарториуса, а я переждал бы «операцию» вместе с Хари где-нибудь снаружи, например в самолёте. Некоторое время я работал у большого электронного каталога, задавая ему вопросы, на которые он либо отвечал, выбрасывая карточки с лаконичной надписью «отсутствует в библиографии», либо предлагал мне углубиться в такие джунгли специальных физических работ, что я не знал, что с этим делать. Мне как-то не хотелось покидать это большое круглое помещение с гладкими стенами, уставленное шкафами с множеством микрофильмов и электронных записей. Расположенная в самом центре Станции, библиотека не имела окон и

была самым изолированным местом внутри стальной скорлупы. Кто знает, не потому ли мне было здесь так хорошо, несмотря на явный провал поисков. Я бродил по большому залу, пока не очутился перед огромным, достигающим потолка стеллажом, полным книг. Ценность этого собрания была весьма сомнительна. Скорее его держали здесь как дань памяти и уважения к пионерам соляристических исследований. На полках стояло около шестисот томов — вся классика предмета, начиная от монументальной, хотя в значительной мере уже устаревшей девятитомной монографии Гезе. Я снимал эти тома, от тяжести которых отвисала рука, и нехотя перелистывал, присев на ручку кресла, Хари тоже нашла себе какую-то книжку, через её плечо я прочитал несколько строчек. Это была одна из немногих книг, принадлежавших первой экспедиции, может быть, даже когда-то собственность самого Гезе — «Межпланетный повар». Я ничего не сказал, видя, с каким вниманием Хари изучает кулинарные рецепты, приспособленные к жёстким условиям космонавтики, и вернулся к книге, которая лежала у меня на коленях. Работа Гезе «Десять лет изучения Соляриса» вышла в серии «Соляриана», выпусками от четвёртого до

двенадцатого, в то время как сейчас они имеют четырёхзначные номера.

Гезе не обладал слишком большой фантазией, впрочем, эта черта может только повредить исследователю Соляриса. Нигде, пожалуй, воображение и умение быстро создавать гипотезы не становится так опасно. В конце концов на этой планете всё возможно. Неправдоподобно звучащие описания форм, которые создаёт плазма, всё-таки абсолютно точны, хотя и не поддаются проверке, так как океан очень редко повторяет свои эволюции. Того, кто наблюдает их впервые, они поражают главным образом загадочностью и громадностью. Если бы они проявлялись в более мелких масштабах, в какой-нибудь луже, их бы, наверное, признали за ещё одну «выходку природы», проявление случайности и слепой игры сил. То, что посредственность и гениальность одинаково беспомощны перед неисчерпаемым разнообразием соляристических форм, также не облегчает общения с феноменами живого океана. Гезе не был ни тем, ни другим. Он был попросту классификатором-педантом, из тех, у кого за наружным спокойствием скрывается поглощающая всю жизнь неиссякаемая страсть к работе. До тех пор пока мог, он пользовался

чисто описательным языком, а когда ему не хватало слов, помогал себе, создавая новые, часто неудачные, не соответствующие явлениям, которые описывал. Впрочем, никакие термины не воспроизводят того, что делается на Солярисе. Его «древовидные горы», его «длиннуши», «грибища», «мимоиды», «симметриады» и «асимметриады», «позвоночники» и «быстренники» звучат страшно искусственно, но дают некоторое представление о Солярисе даже тем, кто, кроме неясных фотографий и чрезвычайно несовершенных фильмов, ничего не видел. Разумеется, и этот добросовестный классификатор грешил многими нелепостями. Человек создаёт гипотезы всегда, даже если он очень осторожен, даже если совсем об этом не догадывается. Гезе считал, что «длиннуши» являются основной формой, и сопоставлял их с многократно увеличенными и нагромождёнными приливными волнами земных морей. Впрочем, те, кто рылся в первом издании его произведения, знают, что первоначально он так и называл их «приливами», вдохновлённый геоцентризмом, который был бы смешон, если бы не был так беспомощен.

Ведь это — если уж искать аналогии на Земле — формации, своими размерами превосходящие

Большой Колорадский каньон, смоделированные в массе, которая вверху имеет студенисто-пенистую консистенцию (впрочем, эта пена застывает в гигантские, легко ломающиеся фестоны, в кружева, с огромными ячейками, некоторым исследователям они даже представляются «скелетистыми наростами»), в глубине же переходит в субстанцию всё более упругую, как напряжённый мускул, но мускул, вскоре, на глубине полутора десятков метров, приобретающий твёрдость скалы, хотя и сохраняющий эластичность. Между натянутыми, как на хребте чудовища, перепонками, за которые цепляются «скелетики», тянется на расстоянии многих километров собственно «длиннуш» — существо с виду совершенно самостоятельное, похожее на какого-то колоссального питона, который обожрался целыми горами и теперь молча их переваривает, время от времени приводя своё сжатое по-рыбьему тело в медленные колебательные движения. Но так «длиннуш» выглядит только сверху, с борта летательного аппарата. Если же приблизиться к нему настолько, что обе «стены ущелья» вознесутся на сотни метров над самолётом, «туловище питона» окажется простирающимся до горизонта пространством, заполненным головокружительным движением.

Понемногу становится понятным, что здесь, под тобой, находится центр действия сил, которые поддерживают возносящиеся к небу склоны медленно кристаллизирующегося сиропа. Но того, что очевидно для глаза, недостаточно для науки. Сколько лет длились отчаянные дискуссии о том, что именно происходит в недрах «длиннушей», миллионы которых бороздят безбрежные просторы океана. Считалось, что это какие-то органы чудовища, что в них происходит обмен веществ, дыхательные процессы, транспорт питательных веществ, и только запылённые библиотеки знают, что ещё. Каждую гипотезу в конце концов удавалось ниспровергнуть тысячами кропотливых, а иногда и опасных исследований. И всё это касается только «длиннушей», формы по сути дела самой простой, самой устойчивой (их существование продолжается недели — явление здесь совершенно исключительное).

Наиболее непонятной формой — причудливой и вызывающей у наблюдателя, пожалуй, самый резкий протест (конечно, инстинктивный), — были «мимоиды». Можно без преувеличения сказать, что Гезе в них влюбился и их изучению, выяснению их сущности посвятил себя целиком. В названии он пытался отразить то, что было

в них наиболее примечательно для человека: стремление к повторению окружающих форм, всё равно — близких или далёких.

В один прекрасный день глубоко под поверхностью океана начинает темнеть плоский широкий круг с рваными краями, с поверхностью, как бы залитой смолой. Через несколько часов он начинает делиться на части, всё более расчленяется и одновременно пробивается к поверхности. Наблюдатель мог бы поклясться, что под ним происходит страшная борьба, потому что со всех сторон мчатся похожие на искривлённые губы, затягивающиеся кратеры, бесконечные ряды кольцевых волн громоздятся над разлившимся в глубине чёрным колеблющимся призраком и, вставая на дыбы, обрушивается вниз. Каждому такому броску сотен тысяч тонн сопутствует растянутый на секунды, липкий, хочется сказать, чавкающий гром. Тут всё происходит с гигантским размахом. Тёмное чудовище оказывается загнанным в глубину, каждый следующий удар словно расплющивает его и расщепляет, от отдельных хлопьев, которые свисают, как намокшие крылья, отходят продолговатые гроздья, сужающиеся в длинные ожерелья, сплавляются друг с другом, и плывут вверх, и тащат за собой

как бы приросший к ним раздробленный материнский диск. А в это время сверху неустанно низвергаются во всё более углубляющуюся впадину новые кольца волн. Такая игра продолжается иногда день, иногда меньше. Порой на этом всё и кончается. Добросовестный Гезе назвал такой вариант «недоношенным мимоидом», как будто имел точные сведения, что конечной целью каждого такого катаклизма является «зрелый мимоид», то есть колония полипообразных светлых наростов (обычно превышающая размеры земного города), назначение которой — передразнивать окружающие формы. Разумеется, сразу же появился другой солярист — Ивенс, который признал эту, последнюю фазу дегенерацией, извращением, угасанием, а всё многообразие созданных форм — очевидным проявлением освобождения отпочковавшихся частей из-под «материнской» власти.

Однако Гезе, который в описаниях других соляристических образований осторожен, как муравей, ползущий по замёрзшему водопаду, в этом случае так был уверен в себе, что даже систематизировал по степени возрастающего совершенства отдельные фазы формирования мимоида.

Наблюдаемый с высоты, мимоид кажется похожим на город, но это просто заблуждение, вызванное поисками аналогии среди уже известных явлений. Когда небо чисто, все многоэтажные отростки и их вершины окружены слоями нагретого воздуха, что создаёт мнимые колебания и изменения форм, которые и без того трудно определить. Первая же туча вызывает немедленную реакцию. Начинается стремительное расслоение. Вверх выбрасывается почти совсем отделённая от основания тягучая оболочка, похожая на цветную капусту, которая сразу же бледнеет и через несколько минут в точности имитирует клубящуюся тучу. Это гигантское образование отбрасывает красноватую тень, вместо одних вершин мимоида возникают другие, причём движение всегда направлено в сторону, противоположную движению настоящей тучи. Думаю, что Гезе дал бы отсечь себе руку, чтобы узнать хотя бы, почему так происходит. Но такие «одиночные изделия» ничто по сравнению со стихийной деятельностью мимоида, «раздразнённого» присутствием предметов и конструкций, которые появляются над ним по воле земных пришельцев. Воспроизводит всё, что находится на расстоянии, не превышающем вось-

ми — десяти миль. Чаще всего мимоид создаёт увеличенные изображения, иногда деформируя их и превращая в карикатуры или гротескные упрощения, в особенности это относится к машинам. Разумеется, материалом всегда является та же самая быстро светлеющая масса, изверженная океаном. Вместо того чтобы упасть, она повисает в воздухе, соединённая легко рвущимися пуповинами с основанием, по которому она медленно передвигается и, одновременно корчась, сокращаясь или увеличиваясь в объёме, пластично формируется в сложные конструкции. Самолёт, ферма или мачта воспроизводятся с одинаковой быстротой. Мимоид не реагирует только на самих людей, точнее говоря, ни на какие живые существа, а также растения, которые тоже доставляли на Солярис в экспериментальных целях неутомимые исследователи. Однако манекен, кукла, изображение собаки или дерева, выполненные из любого материала, копируются немедленно.

Здесь, увы, нужно заметить кстати, что это «повиновение» мимоида желаниям экспериментаторов, такое редкое на Соляризе, время от времени пропадает. Зрелый мимоид имеет свои, если можно так выразиться, «выходные дни», во время которых он только очень медленно

пульсирует. Эта пульсация, впрочем, совершенно незаметна для глаза. Её ритм, одна фаза «пульса», продолжается больше двух часов, и потребовались специальные киносъёмки, чтобы это установить.

В такие периоды мимоид, особенно старый, поддаётся подробному исследованию, так как и погружённый в океан поддерживающий диск и возносящиеся над ним формы представляют собой вполне надёжную опору для ног.

Можно, конечно, побывать в недрах мимоида и в его «рабочие» дни, но в это время видимость близка к нулю вследствие того, что из специальных отростков копирующей массы непрерывно выделяется медленно оседающая пушистая, похожая на снег коллоидная взвесь. Нужно сказать, что эти формы не следует рассматривать с небольшого расстояния, так как их величина близка к величине земных гор. Кроме того, основание «работающего» мимоида становится вязким от коллоидного снега, который только через несколько часов превращается в твёрдую корку, гораздо более лёгкую, чем пемза.

Наконец, без специального снаряжения легко заблудиться в лабиринте огромных конструкций, напоминающих не то искорёженные колонны,

не то полужидкие гейзеры, и это даже при ярком солнечном свете, который не может пробить облака непрерывно выбрасываемых в атмосферу «псевдовзрывов».

Наблюдение мимоида в его счастливые дни (точнее говоря, это счастливые дни для исследователя, который над ним находится) может стать источником незабываемых впечатлений. Мимоид переживает свои «творческие взлёты», когда начинается какая-то противоестественная гиперпродукция. Тогда он создаёт либо собственные варианты окружающих форм, либо их усложнённые изображения или даже «формальное продолжение» и так может забавляться часами на радость художнику-абстракционисту и к отчаянию учёного, который напрасно старается понять что-нибудь в происходящих процессах. Временами в деятельности мимоида проявляются черты откровенно детского упрощения, иногда он впадает в «баро́чные отклонения», тогда всё, что он строит, бывает отмечено распухшей слоновостью. Старые мимоиды особенно часто создают фигуры, способные вызвать искренний смех.

Само собой разумеется, что в первые годы исследований учёные набросились на мимоиды, приняв их за центры соляристического океана, в

которых наступит желанный контакт двух цивилизаций. Однако очень быстро выяснилось, что ни о каком контакте нет и речи, так как всё начиналось и кончалось имитацией форм, которая никуда не вела. Вновь и вновь повторяющийся в отчаянных поисках исследователей антропо- или же зооморфизм усматривал в самых разных творениях живого океана «мыслительные органы» или даже «конечности», за которые учёные (Маартенс, Экконаи) принимали «позвоночники» и «быстренники» Гезе. Но считать эти протуберанцы живого океана, иногда выбрасываемые в атмосферу на высоту до двух миль, «конечностями» было столько же оснований, сколько считать землетрясения «гимнастикой» земной коры.

Каталог форм, повторяющихся более или менее постоянно, рождаемых живым океаном так часто, что их можно открыть на его поверхности в течение суток несколько десятков или даже несколько сотен, охватывает примерно триста названий. Наиболее нечеловеческими в смысле абсолютного отсутствия подобия всему, что когда-либо исследовано человеком на Земле, являются согласно школе Гезе симметриады. Постепенно стало ясно, что океан не проявляет агрессивных намерений и погибнуть в его плазменных пучи-

нах может только тот, кто этого очень добивается (естественно, я не говорю о несчастных случаях, вызванных, например, поломкой кислородного аппарата или климатизатора). Даже цилиндрические реки «длиннушей» и чудовищные столбы «позвоночников», неуверенно блуждающих среди туч, можно навылет пробить самолётом или другим летательным аппаратом без малейшей опасности; плазма освобождает дорогу, расступаясь перед инородным телом со скоростью, равной скорости звука в атмосфере Соляриса, образуя, если её к этому вынуждают, глубокие тоннели даже под поверхностью океана (причём энергия, которая в этих целях приводится в действие, огромна — Скрябин оценил её примерно в 10^19 эрг!!!). Однако к исследованию симметриад приступили с чрезвычайной осторожностью, постоянно отступая, соблюдая все правила безопасности, часто, правда, фиктивные, а имена тех, кто первым опустился в их бездны, известны на Земле каждому ребёнку.

Ужас, который внушают эти исполины, объясняется не их внешним видом, хотя он действительно может навеять кошмарные сны. Скорее он вызван тем, что в их пределах нет ничего постоянного, ничего несомненного, в них нарушаются

даже физические законы. Именно это позволяло учёным всё настойчивее повторять, что живой океан — разумен.

Симметриады появляются внезапно. Их образование напоминает извержение. Океан вдруг начинает блестеть, как будто несколько десятков квадратных километров его поверхности покрыты стеклом. При этом ни его густота, ни ритм волнения не меняются. Иногда симметриада возникает там, где образовалась воронка, засосавшая «быстренник», но это не является правилом. Через некоторое время стеклянистая оболочка выбрасывается вверх чудовищным пузырём, в котором, искажаясь и преломляясь, отражаются весь небосклон, солнце, тучи, горизонт. Молниеносная игра цветов, вызванная отчасти поглощением, отчасти преломлением света, не имеет себе подобной.

Особенно резкие световые эффекты дают симметриады, возникающие во время голубого дня, а также перед заходом солнца. В это время появляется впечатление, что планета рождает другую, с каждым мгновением удваивающую свой объём. Сверкающий огнями глобус, с трудом выдавленный из глубины, растрескивается у вершины на вертикальные секторы. Но это не распад. Эта

стадия, не очень удачно названная «фазой цветочной чашечки», длится секунды. Направленные в небо перепончатые арки переворачиваются, соединяются в невидимой внутренней части и начинают моментально формировать что-то вроде коренастого торса, внутри которого происходят одновременно сотни явлений.

Через некоторое время симметриада начинает проявлять свою самую необыкновенную особенность — моделирование, или точнее нарушение физических законов. Предварительно нужно сказать, что не бывает двух одинаковых симметриад и геометрия каждой из них является как бы новым «изобретением» океана. Далее, симметриада создаёт внутри себя то, что часто называют «моментальными машинами», хотя эти конструкции совсем непохожи на машины, сделанные людьми. Здесь речь идёт об относительно узкой и поэтому как бы «механической» цели действия.

Бьющие из бездны гейзеры формируют толстостенные галереи или коридоры, расходящиеся во всех направлениях, а перепонки создают систему пересекающихся плоскостей, свисающих канатов, сводов. Симметриады оправдывают своё название тем, что каждому образованию в районе

одного полюса соответствует совпадающая даже в мелочах система на противоположном полюсе.

Через какие-нибудь двадцать — тридцать минут гигант начинает медленно погружаться в океан, наклонив сначала свою вертикальную ось на восемь — двенадцать градусов.

Симметриады бывают побольше и поменьше, но даже карликовые возносятся после погружения на добрые восемьсот метров над уровнем океана и видны на расстоянии десятков миль.

Попасть внутрь симметриады безопаснее всего сразу же после восстановления равновесия, когда вся система перестаёт погружаться и возвращается в вертикальное положение. Наиболее интересной для изучения является вершина симметриады. Относительно гладкую «шапку» полюса окружает пространство, продырявленное, как решето, отверстиями внутренних камер и тоннелей. В целом эта формация является трёхмерной моделью какого-то уравнения высшего порядка.

Как известно, каждое уравнение можно выразить языком высшей геометрии и построить эквивалентное ему геометрическое тело. В таком понимании симметриада — родственница конусов Лобачевского и отрицательных кри-

вых Римана, но родственница очень дальняя вследствие своей невообразимой сложности. Это скорее охватывающая несколько кубических миль модель целой математической системы, причём модель четырёхмерная, ибо сомножители уравнения выражаются также и во времени, в происходящих с его течением изменениях.

Самой простой была, естественно, мысль, что перед нами какая-то «математическая машина» живого океана, созданная в соответствующих масштабах модель расчётов, необходимых ему для неизвестных нам целей. Но этой гипотезы Фермонта сегодня уже никто не поддерживает. Не было недостатка и в попытках создания какой-нибудь более доступной, более наглядной модели симметриады. Но всё это ничего не дало.

Симметриады неповторимы, как неповторимы любые происходящие в них явления. Иногда воздух перестаёт проводить звук. Иногда увеличивается или уменьшается коэффициент рефракции. Локально появляются пульсирующие ритмичные изменения тяготения, словно у симметриады есть бьющееся гравитационное сердце. Время от времени гирокомпасы исследователя начинают вести себя как сумасшедшие, возникают и исчезают слои повышенной ионизации…

Это перечисление можно было бы продолжить. Впрочем, если когда-нибудь тайна симметриад будет разгадана, останутся ещё асимметриады.

Экспедиции отмерили сотни километров в глубинах симметриад, расставили регистрирующие аппараты, автоматические кинокамеры; телевизионные глаза искусственных спутников регистрировали возникновение мимоидов и «длиннушей», их созревание и гибель. Библиотеки наполнялись, разрастались архивы; цена, которую за это нужно было платить, порой становилась очень высокой. Семьсот восемнадцать человек погибло во время катаклизмов, не успев выбраться из уже приговорённых к гибели колоссов, из них сто шесть только в одной катастрофе, известной потому, что в ней нашёл смерть и сам Гезе, в то время семидесятилетний старик. Семьдесят девять человек, одетых в панцирные скафандры, вместе с машинами и приборами поглотил в несколько секунд взрыв грязной жижи, сбившей своими брызгами остальные двадцать семь, которые пилотировали самолёты и вертолёты, кружившиеся над местом исследований. Это место на пересечении сорок второй параллели с восемьдесят девятым меридианом обозначено на картах как «Извержение Ста Шести». Но этот

пункт существует только на картах, поверхность океана ничем не отличается там от любой другой точки.

Тогда впервые в истории соляристических исследований раздались голоса, требующие нанесения термоядерных ударов. Это было хуже, чем месть, речь шла об уничтожении того, чего мы не можем понять. Тсанкен, случайно уцелевший начальник резервной группы Гезе, в момент, когда обсуждалось это предложение, пригрозил, что взорвёт Станцию вместе с собой и восемнадцатью оставшимися людьми. И хотя официально никогда не признавалось, что его самоубийственный ультиматум повлиял на результат голосования, можно допустить, что это было именно так.

Но времена, когда многолюдные экспедиции посещали планету, прошли. Сама Станция — это было инженерное сооружение такого масштаба, что Земля могла бы им гордиться, если бы не способность океана в течение секунд создавать конструкции в миллионы раз большие, — была сделана в виде диска диаметром двести метров с четырьмя ярусами в центре и двумя по краю. Она висела на высоте от пятисот до полутора тысяч метров над океаном благодаря гравитаторам,

приводившимся в движение энергией аннигиляции, и, кроме обычной аппаратуры, которой оборудуются все станции и спутники других планет, имела специальные радарные установки, готовые при малейших изменениях состояния поверхности океана включить дополнительную мощность, так что стальной диск поднимался в стратосферу, как только появлялись первые признаки рождения нового чудовища.

Теперь Станция была совершенно безлюдна. С тех пор как автоматы были заперты — по неизвестной мне до сих пор причине — в нижних складах, можно было бродить по коридорам, не встречая никого, как на бесцельно дрейфующем судне, машины которого пережили гибель команды.

Когда я поставил на полку девятый том монографии Гезе, мне показалось, что сталь, скрытая слоем пушистого пенопласта, задрожала у меня под ногами. Я замер, но дрожь не повторилась. Библиотека была тщательно изолирована от корпуса, и вибрация могла иметь только одну причину. Стартовала какая-то ракета. Эта мысль вернула меня к действительности. Я ещё не решил окончательно, выполнить ли мне желание Сарториуса. Если я буду вести себя так, будто

полностью одобряю его планы, то в лучшем случае смогу лишь оттянуть кризис; я был почти уверен, что дело дойдёт до столкновения, так как решил сделать всё возможное, чтобы спасти Хари. Весь вопрос в том, имел ли Сарториус шанс на успех. Его преимущество передо мной было огромным — как физик он знал проблему в десять раз лучше меня, и я мог рассчитывать, как это ни парадоксально, только на сложность задач, которые ставил перед нами океан. В течение следующего часа я корпел над микрофильмами, пытаясь выловить хоть что-нибудь доступное моему пониманию из моря сумасшедшей математики, языком которой разговаривала физика нейтринных процессов. Сначала мне это показалось безнадёжным, тем более что дьявольски сложных теорий нейтринного поля было целых пять, верный признак того, что ни одна из них не является правильной. Однако в конце концов мне удалось найти нечто обнадёживающее. Я переписал некоторые формулы и в этот момент услышал стук.

Я быстро подошёл к двери и открыл её, загородив собой щель. В ней показалось блестящее от пота лицо Снаута. Коридор за ним был пуст.

— А, это ты, — сказал я, приоткрывая дверь.

— Заходи.

— Да, это я.

Голос у него был хриплый, под воспалёнными глазами — мешки. На нём был блестящий резиновый противорадиационный фартук на эластичных помочах, из-под фартука выглядывали перепачканные штанины всё тех же брюк, в которых он всегда ходил. Его глаза обежали круглый, равномерно освещённый зал и остановились, когда он заметил стоящую у кресла Хари. Мы обменялись быстрым взглядом, я опустил веки, тогда он слегка поклонился, а я, впадая в дружеский тон, сказал:

— Это доктор Снаут, Хари. Снаут, это… моя жена.

— Я… малозаметный член экипажа и поэтому… — пауза становилась опасной — не имел случая познакомиться…

Хари усмехнулась и подала ему руку, которую он пожал, как мне показалось, немного обалдело, несколько раз моргнул и застыл, глядя на неё, пока я не взял его за плечи.

— Извините, — произнёс он тогда, обращаясь к ней. — Я хотел поговорить с тобой, Кельвин…

— Разумеется, — ответил я с какой-то великосветской непринуждённостью. Всё это звучало

как низкопробная комедия. Выхода, однако, не было. — Хари, дорогая, не обращай на нас внимании. Мы с доктором должны поговорить о наших скучных делах.

Я взял Снаута за локоть и провёл его к маленьким креслицам в противоположной стороне зала. Хари уселась в кресло, в котором до этого сидел я, но подвинула его так, чтобы, подняв голову от книжки, видеть нас.

— Ну что? — спросил я тихо.

— Развёлся, — ответил он свистящим шёпотом. Возможно, я бы рассмеялся, если бы мне когда-нибудь рассказали эту историю и такое начало разговора, но на Станции моё чувство юмора было ампутировано.

— Со вчерашнего дня я пережил пару лет, Кельвин, — добавил он. — Пару неплохих лет. А ты?

— Ничего… — ответил я через мгновение, так как не знал, что говорить. Я любил его, но чувствовал, что сейчас должен его опасаться, вернее, того, с чем он ко мне пришёл.

— Ничего… — повторил Снаут тем же тоном, что и я. — Даже так?

— О чём ты? — Я сделал вид, что не понимаю.

Он прищурил налитые кровью глаза и, наклонившись ко мне так, что я почувствовал на лице

тепло его дыхания, зашептал:

— Мы увязаем, Кельвин. С Сарториусом я уже не могу связаться, знаю только то, что написал тебе. Он сказал мне это после нашей маленькой конференции…

— Он выключил визиофон?

— Нет. У него там короткое замыкание. Кажется, он сделал это нарочно или… — Снаут резко опустил кулак, будто разбивал что-то.

Я смотрел на него молча.

— Кельвин, я пришёл, потому что… — Не кончил. — Что ты собираешься делать?

— Ты об этом письме? — ответил я медленно. — Я могу это сделать, не вижу повода для отказа, собственно, для того здесь и сижу, хотел разобраться…

— Нет, — прервал он. — Не об этом…

— Нет? — переспросил я, изображая удивление. — Слушаю.

— Сарториус, — буркнул он после недолгого молчания. — Ему кажется, что он нашёл путь… вот.

Он не спускал с меня глаз. Я сидел спокойно, стараясь придать лицу безразличное выражение.

— Во-первых, та история с рентгеном. То, что делал с ним Гибарян, помнишь? Возможна неко-

торая модификация…

— Какая?

— Мы посылали просто пучок лучей в океан и модулировали только их напряжение по разным законам.

— Да, я знаю об этом. Нилин уже делал подобные вещи. И огромное количество других.

— Верно. Но они применяли мягкое излучение. А у нас было жёсткое, мы всаживали в океан всё, что имели, всю мощность.

— Это может иметь неприятные последствия, — заметил я. — Нарушение конвенции четырёх и ООН.

— Кельвин… не прикидывайся. Ведь теперь это не имеет никакого значения. Гибаряна нет в живых.

— Ага. Сарториус всё хочет свалить на него?

— Не знаю. Не говорил с ним об этом. Это неважно. Сарториус считает, что коль скоро «гость» появляется всегда только в момент пробуждения, то, очевидно, он извлекает из нас рецепт производства во время сна. Считает, что самое важное наше состояние — именно сон. Поэтому так поступает. И Сарториус хочет передать ему нашу явь — мысли во время бодрствования, понимаешь?

— Каким образом? Почтой?

— Шутить будешь потом. Этот пучок излучения мы промодулируем токами мозга кого-нибудь из нас.

У меня вдруг прояснилось в голове:

— Ага. Этот кто-то — я. А?

— Да. Он думал о тебе.

— Сердечно благодарю.

— Что ты на это скажешь?

Я молчал. Ничего не говоря, он медленно посмотрел на погружённую в чтение Хари и отвернулся глазами к моему лицу. Я почувствовал, что бледнею, и не мог с этим справиться.

— Ну, как?… — спросил он.

Я пожал плечами.

— Эти рентгеновские проповеди о великолепии человека считаю шутовством. И ты тоже. Может быть, нет?

— Да?

— Да.

— Это очень хорошо, — сказал он и улыбнулся, как будто я исполнил его желание. — Значит, ты против всей этой истории?

Я не понимал ещё, как это произошло, но в его взгляде прочитал, что он загнал меня туда, куда хотел. Я молчал. Что теперь было говорить?

— Отлично, — произнёс он. — Потому что есть

ещё один проект. Перемонтировать аппаратуру Роше.

— Аннигилятор?

— Да. Сарториус уже сделал предварительные расчёты. Это реально. И даже не потребует большой мощности. Аппарат будет действовать неограниченное время, создавая антиполе.

— По… подожди! Как ты себе это представляешь?

— Очень просто. Это будет нейтринное антиполе. Обычная материя остаётся без изменений. Уничтожению, подвергаются только… нейтринные системы. Понимаешь?

Он удовлетворённо усмехнулся. Я сидел, приоткрыв рот. Постепенно он перестал усмехаться, испытующе посмотрел на меня, нахмурил лоб и, подождав немного, продолжал:

— Итак, первый проект «Мысль» отбрасываем. А? Второй? Сарториус уже сидит над этим. Назовём его «Свобода».

Я на мгновение закрыл глаза. Быстро соображал: Снаут не был физиком, Сарториус выключил или уничтожил визиофон. Очень хорошо.

— Я бы назвал его точнее — «Бойня»… — сказал я медленно.

— Сам был мясником. Может, нет? А теперь это

будет что-то совершенно иное. Никаких «гостей», никаких существ — ничего. Уже в момент начала материализации начнётся распад.

— Это недоразумение, — ответил я, с сомнением покачав головой, и усмехнулся. Я надеялся, что выгляжу достаточно естественно. — Это не моральная щепетильность, а инстинкт самосохранения. Я не хочу умирать, Снаут.

— Что?…

Он был удивлён и смотрел на меня подозрительно. Я вытянул из кармана лист с формулами.

— Я тоже думал об этом. Тебя это удивляет? Ведь это я первый выдвинул нейтринную гипотезу. Не правда ли? Смотри. Антиполе можно возбудить. Для обычной материи оно безопасно. Это верно. Но в момент дестабилизации, когда нейтринная структура распадается, высвобождается излишек энергии её стабилизации. Принимая на один килограмм массы покоя десять в восьмой эрг, получаем для одного существа F пять — семь на десять в девятой. Знаешь, что это означает? Это эквивалентно заряду урана, который взорвётся внутри Станции.

— Что ты говоришь? Но… ведь Сарториус должен был принять во внимание…

— Не обязательно, — ответил я со злой усмеш-

кой. — Дело в том, что Сарториус принадлежит к школе Фрезера и Кайоли. По их мнению, вся энергия в момент распада освобождается в виде светового излучения. Это была бы попросту сильная вспышка, не совсем, возможно, безопасная, но не уничтожающая. Существуют, однако, другие гипотезы, другие теории нейтринного поля. По Кайе, по Авалову, по Сиону спектр излучения значительно шире, а максимум падает на жёсткое гамма-излучение. Хорошо, что Сарториус верит своим учителям и их теории, но есть и другие. И знаешь, что я тебе скажу? — протянул я, видя, что мои слова произвели на него впечатление. — Нужно принять во внимание и океан. Если уж он сделал то, что сделал, то наверняка применил оптимальный метод. Другими словами: его действия кажутся мне аргументом в пользу той, другой школы — против Сарториуса.

— Покажи мне эту бумагу, Кельвин…

Я подал ему лист. Он наклонил голову, пытаясь прочесть мои каракули.

— Что это? — ткнул пальцем.

Я взял у него расчёты.

— Это? Тензор трансмутации поля.

— Дай мне всё…

— Зачем тебе? — Я знал, что он ответит.

— Нужно сказать Сарториусу.

— Как хочешь, — ответил я равнодушно. — Можешь взять. Только, видишь ли, этого никто не исследовал экспериментально, такие структуры нам ещё неизвестны. Он верит во Фрезера, я считал по Сиону. Он скажет, что я не физик и Сион тоже. По крайней мере в его понимании. Но это тема для дискуссии. Меня не устраивает дискуссия, в результате которой я могу испариться, к вящей славе Сарториуса. Тебя я могу убедить, его — нет. И пробовать не стану.

— И что же ты хочешь сделать?… Он работает над этим, — бесцветным голосом сказал Скаут. Он сгорбился, всё его оживление прошло. Я не знал, верит ли он мне, но мне было уже всё равно.

— То, что делает человек, которого хотят убить, — ответил я тихо.

— Попробую с ним связаться. Может, он думает о каких-нибудь мерах предосторожности, — буркнул Снаут и поднял на меня глаза. — Слушай, а если бы всё-таки?… Тот, первый проект. А? Сарториус согласится. Наверняка. Это… во всяком случае… какой-то шанс.

— Ты в это веришь?

— Нет, — ответил он. — Но… чему это повредит?

Я не хотел соглашаться слишком быстро, мне ведь это и было нужно. Он становился моим союзником в игре на проволо́чку.

— Подумаю, — проговорил я.

— Ну, я пошёл, — сказал Снаут, вставая. Когда он поднимался, у него затрещали все кости. — Хоть энцефалограмму-то дашь себе сделать? — спросил он, потирая пальцами фартук, будто пытаясь стереть с него невидимые пятна.

— Хорошо.

Не обращая внимания на Хари (она сидела с книгой на коленях и молча смотрела на эту сцену), он пошёл к двери. Когда она закрылась за ним, я встал. Расправил лист, который держал в руке. Формулы были подлинные. Я не подделал их. Не знаю, правда, согласился ли бы Сион с тем, как я их развил. Пожалуй, нет. Я вздрогнул. Хари подошла сзади и прикоснулась к моей руке.

— Крис!

— Что, дорогая?

— Кто это был?

— Я говорил тебе. Доктор Снаут.

— Что это за человек?

— Я мало его знаю. Почему ты спрашиваешь?

— Он так на меня смотрел…

— Наверное, ты ему понравилась…

— Нет, — она покачала головой. — Это был не такой взгляд. Смотрел на меня так… как будто…

Она вздрогнула, подняла глаза и сразу же их опустила.

Жидкий кислород

Не знаю, как долго я лежал в тёмной комнате, неподвижный, уставившись в светящийся на запястье циферблат часов. Слушал собственное дыхание и чему-то удивлялся, оставаясь при этом совершенно равнодушным. Наверное, я просто страшно устал. Я повернулся на бок, кровать была странно широкой, мне чего-то недоставало. Я задержал дыхание и замер. Стало совершенно тихо. Не доносилось ни малейшего звука. Хари? Почему не слышно её дыхания? Начал водить руками по постели: я был один.

«Хари!» — хотел я её позвать, но услышал шаги. Шёл кто-то большой и тяжёлый, как…

— Гибарян? — сказал я спокойно.

— Да, это я. Не зажигай свет.

— Нет?

— Не нужно. Так будет лучше для нас обоих.

— Но тебя нет в живых?

— Это ничего. Ты ведь узнаёшь мой голос?

— Да. Зачем ты это сделал?

— Должен был. Ты опоздал на четыре дня. Если бы прилетел раньше, может быть, это и не по-

надобилось бы. Но не упрекай себя. Мне не так уж плохо.

— Ты правда здесь?

— Ах, думаешь, что я снюсь тебе, как думал о Хари?

— Где она?

— Почему ты думаешь, что я знаю?

— Догадался.

— Держи это при себе. Предположим, что я здесь вместо неё.

— Но я хочу, чтобы она тоже была.

— Это невозможно.

— Почему? Слушай, ты ведь знаешь, что в действительности это не ты, это только я.

— Нет. Это действительно я. Если бы ты хотел быть педантичным, мог бы сказать — это ещё один я. Но не будем тратить слов.

— Ты уйдёшь?

— Да.

— И тогда она вернётся?

— Тебе этого хочется? Кто она для тебя?

— Это моё дело.

— Ты ведь её боишься…

— Нет.

— И тебе противно…

— Чего ты от меня хочешь?…

— Ты должен жалеть себя, а не её. Ей всегда будет двадцать лет. Не притворяйся, что ты не знаешь этого!

Вдруг, совершенно неизвестно почему, я успокоился. Слушал его совсем хладнокровно. Мне показалось, что теперь он стоит ближе, в ногах кровати, но я по-прежнему ничего не видел в этом мраке.

— Чего ты хочешь? — спросил я тихо.

Мой тон как будто удивил его. С минуту он молчал.

— Сарториус убедил Снаута, что ты его обманул. Теперь они тебя обманут. Под видом монтажа рентгеновской аппаратуры они собирают аннигилятор поля.

— Где она? — спросил я.

— Разве ты не слышал, что я тебе сказал? Предупредил тебя!

— Где она?

— Не знаю. Запомни: тебе понадобится оружие. Ты ни на кого не можешь рассчитывать.

— Могу рассчитывать на Хари.

Послышался слабый быстрый звук. Он смеялся.

— Конечно, можешь. До какого-то предела. В конце концов всегда можешь сделать то же,

что я.

— Ты не Гибарян.

— Да? А кто? Может быть, твой сон?

— Нет. Ты их кукла. Но сам об этом не знаешь.

— А откуда ты знаешь, кто ты?

Это меня озадачило. Я хотел встать, но не мог. Гибарян что-то говорил. Я не понимал слов, слышал только звук его голоса, отчаянно боролся со слабостью, ещё раз рванулся с огромным усилием… и проснулся. Я хватал воздух, как полузадушенная рыба. Было совсем темно. Это сон. Кошмар. Сейчас… «дилемма, которую не могу разрешить. Мы преследуем самих себя. Политерией использовал какой-то способ селективного усиления наших мыслей. Поиски мотивировки этого явления являются антропоморфизмом. Там, где нет людей, там нет также доступных человеку мотивов. Чтобы продолжать выполнение плана исследований, нужно либо уничтожить собственные мысли, либо их материальную реализацию. Первое не в наших силах. Второе слишком похоже на убийство…»

Я вслушивался в темноте в этот мёртвый далёкий голос, звук которого узнал сразу же: говорил Гибарян. Я вытянул руки перед собой. Постель была пуста.

«Проснулся для следующего сна», — пришла мне в голову мысль.

— Гибарян?… — окликнул я. Голос оборвался сразу же на полуслове. Что-то тихонько щёлкнуло, и я почувствовал лёгкое дыхание.

— Ну, что же ты, Гибарян? — проворчал я, зевая. — Так преследовать из одного сна в другой, знаешь…

Около меня что-то зашелестело.

— Гибарян! — повторил я громче.

Пружины кровати заскрипели.

— Крис… это я… — послышался рядом со мной шёпот.

— Это ты, Хари… а Гибарян?

— Крис… Крис… но ведь он не… сам говорил, что он умер…

— Во сне может жить, — протянул я. Я уже не был совершенно уверен, что это сон. — Он что-то говорил. Был здесь.

Я был страшно сонный. «Раз я сонный — значит, сплю», — пришла мне в голову идиотская мысль. Я дотронулся губами до холодного плеча Хари и улёгся поудобнее. Она что-то мне говорила, но я уже погружался в беспамятство.

Утром в освещённой красным светом комнате я припомнил происшествие этой ночи. Разговор

с Гибаряном мне приснился, но потом? Я слышал его голос, мог бы в этом поклясться, не помнил только хорошенько, что он говорил.

Это звучало не как разговор, скорее как доклад. Доклад!

Хари мылась. Я слышал плеск воды в ванне. Я заглянул под кровать, где недавно стоял магнитофон. Его там не было.

— Хари, — позвал я.

Её мокрое лицо показалось из-за шкафа.

— Ты случайно не видела под кроватью магнитофона? Маленький, карманный…

— Там лежали разные вещи. Я всё положила туда, — она показала на полку около шкафчика с лекарствами и исчезла в ванне.

Я вскочил с кровати, но поиски не дали результатов.

— Ты должна была его видеть, — сказал я, когда Хари вернулась в комнату.

Она ничего не ответила и стала причёсываться перед зеркалом. Только теперь я заметил, что она бледна, а в её глазах, которые встретились с моими в зеркале, какая-то насторожённость.

— Хари, — начал я, как осёл, ещё раз, — магнитофона нет на полке.

— Ничего более важного не хочешь мне ска-

зать?...

— Извини, — пробормотал я. — Ты права, это глупость.

Не хватает ещё, чтобы мы начали ссориться.

Потом мы пошли завтракать. Хари сегодня делала всё иначе, чем обычно, но я не мог определить, в чём разница. Она всё время осматривалась, несколько раз не слышала, что я ей говорил, как бы впадая в задумчивость. Один раз, когда она подняла голову, я заметил, что её глаза блестят.

— Что с тобой? — я понизил голос до шёпота. — Ты плачешь?

— Ох, оставь меня. Это не настоящие слёзы, — пролепетала она.

Возможно, я не должен был удовлетворяться этим, но я ничего так не боялся, как «откровенных разговоров». Впрочем, в голове у меня было совсем другое. Хотя интриги Снаута и Сарториуса мне только приснились, я начал соображать, есть ли вообще на Станции какое-нибудь подходящее оружие. О том, что с ним делать, я не думал, просто хотел его иметь. Я сказал Хари, что я должен заглянуть на склады. Она молча пошла за мной. Я рылся в коробках, искал в ящичках, а когда опустился в самый низ, не мог устоять перед желанием заглянуть в холодильник. Мне,

однако, не хотелось, чтобы Хари входила туда, поэтому я только приоткрыл двери и оглядел всё помещение. Тёмный саван возвышался, прикрывая удлинённый предмет, но с того места, где я стоял, нельзя было увидеть, лежит ли ещё там та, чёрная. Мне показалось, что место, где она лежала, теперь свободно.

Я не нашёл ничего, что бы мне подошло, и был в очень плохом настроении, как вдруг сообразил, что не вижу Хари. Впрочем, она сразу же пришла — отстала в коридоре, — но уже её попытки отойти от меня даже на секунду должны были привлечь моё внимание. Но я всё ещё вёл себя, как будто обиделся неизвестно на кого, или попросту как кретин. У меня разболелась голова, я не мог найти никаких порошков и злой, как сто чертей, перевернул вверх ногами всё содержимое аптечки. Снова идти в операционную мне не хотелось. Я редко вёл себя так нелепо, как в этот день. Хари сновала по кабине, как тень, иногда на секунду исчезая. После полудня, когда мы уже пообедали (собственно, она вообще не ела, а я пожевал без аппетита и, оттого что голова у меня трещала от боли, даже не пробовал уговорить её поесть), Хари уселась вдруг около меня и потянула меня за рукав.

— Ну, что такое? — буркнул я машинально.

Мне казалось, что по трубам доносится слабый стук. Я решил, что это Сарториус копается в аппаратуре высокого напряжения, и мне захотелось пойти наверх. Но тут мне пришло в голову, что придётся идти с Хари. И если её присутствие в библиотеке было ещё как-то объяснимо, там, среди машин, оно могло преждевременно привлечь внимание Снаута.

— Крис, — шепнула Хари, — как у нас?…

Я невольно вздохнул. Нельзя сказать, чтобы это был мой счастливый день.

— Как нельзя лучше. О чём ты снова?

— Я хотела с тобой поговорить.

— Слушаю

— Но не так.

— А как? Ну, у меня болит голова, масса работы…

— Немного желания, Крис…

Я выдавил из себя улыбку. Наверно, она была жалкой.

— Да, дорогая. Говори.

— А ты скажешь мне правду.

Я поднял брови. Такое начало мне не нравилось.

— Для чего же мне врать?

— Может, у тебя есть поводы. Серьёзные. Но если хочешь, чтобы… ну, знаешь… то не обманывай меня.

Я молчал.

— Я тебе что-то скажу, и ты мне скажешь. Ладно? Это будет правда. Несмотря ни на что.

Я не смотрел ей в глаза, хотя она искала моего взгляда. Притворился, что не замечаю этого.

— Я тебе уже говорила, что не знаю, откуда здесь взялась. Но, может, ты знаешь? Погоди, я ещё не кончила. Возможно, ты и не знаешь. Но если знаешь, только не можешь этого мне сказать сейчас, то, может, поздней когда-нибудь? Это не самое плохое. Во всяком случае дашь мне шанс.

На меня словно обрушился холодный поток.

— Детка, что ты говоришь?… Какой шанс? — запинался я.

— Крис, кто бы я ни была, я наверняка не ребёнок. Ты обещал. Скажи.

Это «кто бы я ни была» так схватило меня за горло, что я мог только смотреть на неё, глуповато тряся головой, как будто защищался от её слов.

— Я ведь говорила, что не можешь мне сказать. Достаточно будет, если скажешь, что не можешь.

— Я ничего не скрываю, — ответил я хрипло.

— Это хорошо. — Она встала.

Я хотел что-то сказать. Чувствовал, что не могу оставить её так, но все слова застряли у меня в горле.

— Хари…

Она стояла у окна, отвернувшись. Тёмно-синий океан лежал под голубым небом.

— Хари, если ты думаешь, что… Хари, ведь ты знаешь, что я люблю тебя.

— Меня?

Я подошёл к ней. Хотел её обнять. Она высвободилась, оттолкнув мою руку.

— Ты такой добрый… Любишь меня? Предпочла бы, чтобы ты меня бил!

— Хари, дорогая!

— Нет, нет. Молчи уж лучше.

Она подошла к столу и начала собирать тарелки. Я смотрел в синюю пустыню. Солнце садилось, и огромная тень Станции мерно колебалась на волнах. Тарелка выскользнула из рук Хари и упала на пол. Вода булькала в моечном аппарате. Рыжий цвет переходил на краях небосклона в грязно-красное золото. Если бы я знал, что делать. Если бы знал. Вдруг стало тихо. Хари стояла рядом со мной, сзади.

— Нет. Не оборачивайся, — сказала шёпотом. — Ты ни в чём не виноват, Крис. Я знаю. Не му-

чайся.

Я протянул к ней руку. Она отбежала внутрь кабины и, подняв целую стопку тарелок, сказала:

— Жаль. Если бы они могли разбиться, разбила бы, всё разбила бы.

Какое-то мгновение я думал, что и вправду швырнёт их на пол, но она внимательно посмотрела на меня и усмехнулась:

— Не бойся, не буду устраивать тебе сцен.

Я проснулся среди ночи и сразу же, напряжённый, сел на кровати. В комнате было темно, только через приоткрытую дверь из коридора падала тонкая полоска света. Что-то ядовито шипело, звук нарастал вместе с приглушёнными тупыми ударами, как будто что-то большое билось за стеной.

«Метеор, — мелькнула мысль. — Пробил панцирь. Кто-то там есть!»

Протяжный хрип.

От этого я сразу же пришёл в себя. Я на Станции, а не в ракете, а этот ужасный звук…

Я выскочил в коридор. Дверь маленькой лаборатории была открыта настежь, там горел свет. Я вбежал внутрь. На меня хлынул поток ледяного холода. Кабину наполнял пар, превращающий дыхание в хлопья снега. Туча белых хлопьев

кружилась над завёрнутым в купальный халат телом, которое едва шевелилось на полу. Это была Хари. Я с трудом разглядел её в этой ледяной туче, бросился к ней, схватил, халат обжёг мне руки, она хрипела. Я выбежал в коридор, миновал вереницу дверей. Я уже не чувствовал холода, только её дыхание, вырывающееся изо рта облачками пара, как огнём, жгло мне плечо.

Я уложил её на стол, разорвал халат на груди, секунду смотрел в её перекошенное дрожащее лицо, кровь замёрзла вокруг открытого рта, покрыла губы чёрным налётом, на языке блестели кристаллики льда.

Жидкий кислород. В лаборатории был жидкий кислород в сосудах Дьюара. Поднимая её, я чувствовал, что давлю битое стекло. Сколько она могла выпить? Всё равно. Сожжены трахея, горло, лёгкие, жидкий кислород разъедает сильнее, чем концентрированные кислоты. Её дыхание, скрежещущее, сухое, как звук разрываемой бумаги, утихало. Глаза были закрыты. Агония.

Я посмотрел на большие застеклённые шкафы с инструментами и лекарствами. Трахеотомия? Интубация? Но у неё уже нет лёгких! Сгорели. Лекарства? Сколько лекарств! Полки были заставлены рядами цветных бутылей и коробок.

Хрип наполнил всю комнату, из её открытого рта всё ещё расходился туман. Термофоры…

Начал искать их, но, прежде чем нашёл, рванул дверцу другого шкафа, разбросал коробки с ампулами… Теперь шприц… Где он?… В стерилизаторах… Я не мог его собрать занемевшими руками, пальцы были твёрдыми и не хотели сгибаться. Начал бешено колотить рукой о крышку стерилизатора, но даже не чувствовал этого. Единственным ощущением было слабое покалывание.

Лежащая захрипела сильнее. Я подскочил к ней. Её глаза были открыты.

— Хари.

Это был даже не шёпот. У меня просто не было голоса. Лицо у неё было чужое, словно сделанное из гипса, рёбра ходили ходуном, волосы, мокрые от растаявшего снега, рассыпались по изголовью. Она смотрела на меня.

— Хари!

Я ничего больше не мог сказать. Стоял, как бревно, с этими чужими деревянными руками. Ступни, губы, веки начинали гореть всё сильнее, но я этого почти не чувствовал. Капля растаявшей в тепле крови стекла у неё по щеке, прочертив косую чёрточку. Язык задрожал и исчез, она всё

ещё хрипела.

Я взял её запястье, пульса не было, откинул полы халата и приложил ухо к пугающе холодному телу. Сквозь шум, словно от пожара, услышал частые удары, бешеные тона, слишком быстрые, чтобы их можно было сосчитать. Я стоял, низко наклонившись, с закрытыми глазами, когда что-то коснулось моей головы. Её пальцы перебирали мои волосы. Я посмотрел ей в глаза.

— Крис, — прохрипела она.

Я схватил её руку, она ответила пожатием, которое чуть не раздавило мою ладонь, сознание ушло с её страшно перекошенного лица, между веками блеснули белки, в горле захрипело, и всё тело сотрясла рвота. Она свесилась со стола, билась головой о край фарфоровой воронки. Я придерживал её и прижимал к столу, с каждым следующим спазмом она вырывалась, я мгновенно покрылся потом, и ноги сделались как ватные. Когда рвота ослабла, я попытался её уложить. Она со стоном хватала воздух. Вдруг на этом страшном окровавленном лице засветились глаза Хари.

— Крис, — захрипела она, — как… как долго, Крис?

Она начала давиться, на губах выступила пена, снова её раздирала рвота. Я держал её из по-

следних сил. Потом она упала навзничь, так что лязгнули зубы, и часто задышала.

— Нет, нет, нет, — выталкивала она быстро с каждым вздохом, и каждый казался последним. Но рвота вернулась ещё раз, и снова она билась в моих объятиях, в коротких перерывах втягивая воздух с усилием, от которого выступали все рёбра. Наконец веки до половины закрылись на её слепых глазах. Она застыла. Я думал, что это конец. Не пытался даже стереть пену с её рта, стоял над ней наклонившись, слыша где-то далёкий большой колокол, и ждал последнего вздоха, чтобы после него упасть на пол, но она всё ещё дышала, почти без хрипа, всё тише, а холмик груди, который почти совсем уже перестал вздрагивать, вдруг задвигался в быстром темпе работающего сердца. Я стоял сгорбившись. Её лицо начало розоветь.

Я, словно оглушённый, ничего не понимал. Только обе ладони у меня вспотели, и мне казалось, что я глохну, что-то мягкое, эластичное наполнило уши, я всё ещё слышал тот звенящий колокол, теперь глухой, словно он треснул.

Она подняла веки, и наши глаза встретились.

«Хари», — хотел я сказать, но у меня как будто не было рта, лицо было мёртвой тяжёлой маской,

и я мог только смотреть.

Её глаза обежали комнату, голова пошевелилась. Было совсем тихо. За мной, в каком-то другом далёком мире, ровно капала вода из неплотно закрытого крана. Она приподнялась на локте. Села. Я попятился. Она наблюдала за мной.

— Что, — спросила, — что?… Не… удалось? Почему?… Почему так смотришь?…

И неожиданно страшный крик:

— Почему так смотришь!!!

Снова стало тихо. Она посмотрела на свои руки. Пошевелила пальцами.

— Это… я?

— Хари, — произнёс я беззвучно, одними губами.

— Хари?… — повторила она, подняв голову, медленно сползла на пол и встала.

Пошатнулась, потом выпрямилась, прошла несколько шагов. Всё это она делала в каком-то трансе, смотрела на меня и словно не видела.

— Хари? — медленно повторила она ещё раз. — Но… я… не Хари. А кто — я? Хари? А ты, ты?!

Вдруг её глаза расширились, заблестели, и тень улыбки и радостного недоумения осветила её лицо.

— Может быть, ты тоже? Крис! Может, ты тоже?!

Я молчал, прижавшись спиной к шкафу, там, куда загнал меня страх.

У неё упали руки.

— Нет. Нет, ты боишься. Слушай, я больше не могу. Так нельзя. Я ничего не знала. Я сейчас… я больше ничего не понимаю. Ведь это невозможно? Я, — она прижала стиснутые ослабевшие руки к груди, — ничего не знаю, кроме… кроме Хари! Может, ты думаешь, что я притворяюсь. Я не притворяюсь, святое слово, не притворяюсь.

Последние слова перешли в стон. Она упала на пол и разрыдалась. Её крик словно что-то во мне разбил, одним прыжком я оказался около неё, схватил за плечи; она защищалась, отталкивала меня, рыдая без слёз, кричала:

— Пусти! Пусти! Тебе противно! Знаю! Не хочу так! Не могу! Ты сам видишь, сам видишь, что это не я, не я, не я…

— Молчи! — кричал я, тряся её.

Мы оба кричали, не сознавая этого, стоя друг перед другом на коленях. Голова Хари моталась, ударяясь о мои плечи, я прижал её к себе изо всех сил. Тяжело дыша, мы замерли. Вода мерно капала из крана.

— Крис… — с трудом проговорила она, прижимаясь лицом к моей груди. — Скажи, что мне сделать, чтобы меня не было, Крис…

— Перестань! — заорал я.

Она подняла лицо, всматриваясь в меня.

— Как?… Ты тоже не знаешь? Ничего нельзя придумать? Ничего?

— Хари… сжалься…

— Я хотела… я знала. Нет. Нет. Пусти. Не хочу, чтобы ты ко мне прикасался. Тебе противно.

— Убила бы себя?

— Да.

— А я не хочу, понимаешь? Не хочу этого. Хочу, чтобы была здесь, со мной, и ничего другого мне не нужно!

Огромные серые глаза поглотили меня.

— Как ты лжёшь… — сказала она совсем тихо. Я опустил её и встал с колен. Она уселась на полу.

— Скажи, как мне сделать, чтобы ты поверила, что я говорю то, что думаю? Что это правда. Что другой нет.

— Ты не можешь говорить правду. Я не Хари.

— А кто же ты?

Она долго молчала. У неё задрожал подбородок, и, опустив голову, она прошептала:

— Хари… но… но я знаю, что это неправда. Ты

не меня… любил там, раньше…

— Да. Того, что было, нет. Это умерло. Но здесь люблю тебя. Понимаешь?

Она покачала головой.

— Ты добрый. Не думай, пожалуйста, что я не могу оценить всего, что ты сделал. Делал хорошо, как мог. Но здесь ничем не поможешь. Когда три дня назад я сидела утром у твоей постели и ждала, пока ты проснёшься, я не знала ничего. У меня такое чувство, словно это было очень, очень давно. Вела себя так, будто я не в своём уме. В голове был какой-то туман. Не понимала, что было раньше, а что позднее, и ничему не удивлялась, как после наркоза или долгой болезни. И даже думала, что, может, я болела, только ты не хочешь этого говорить. Но потом всё больше мелочей заставляло меня задумываться. Какие-то проблески появились после твоего разговора в библиотеке с этим, как его, со Снаутом. Но ты не хотел мне ничего говорить, тогда я встала ночью и включила магнитофон. Соврала тебе только один-единственный раз, я его спрятала потом, Крис. Тот, кто говорил, как его звали?

— Гибарян.

— Да, Гибарян. Тогда я поняла всё, хотя, честно говоря, больше ничего не понимаю. Не знала од-

ного, я не могу… я не… это так и будет… без конца. Об этом он ничего не говорил. Впрочем, может, и говорил, но ты проснулся, и я выключила магнитофон. Но и так услышала достаточно, чтобы понять, что я не человек, а только инструмент.

— Что ты говоришь?

— Да. Для изучения твоих реакций или что-то в этом роде. У каждого из вас есть такое… такая, как я. Это основано на воспоминаниях или фантазии… подавленной. Что-то в этом роде. Впрочем, ты всё это знаешь лучше меня. Он говорил страшные, неправдоподобные вещи, и, если бы всё это так не совпадало, я бы, пожалуй, не поверила!

— Что не совпадало?

— Ну, что мне не нужен сон и что я всё время должна быть около тебя. Вчера утром я ещё думала, что ты меня ненавидишь, и от этого была несчастна. Какая же я была глупая. Но скажи, сам скажи, разве я могла представить? Ведь он совсем не ненавидел ту, свою, но как о ней говорил! Только тогда я поняла! Только тогда я поняла, что, как бы я ни поступила, это всё равно, потому что, хочу я или нет, для тебя это всё равно должно быть пыткой. И даже ещё хуже, потому что орудия пытки мёртвые и безвинные, как камень, который может упасть и убить. А чтобы орудие

могло желать добра и любить, такого я не могла себе представить. Мне хотелось бы рассказать тебе хотя бы то, что во мне происходило тогда, когда поняла, когда слушала эту плёнку. Может быть, это принесёт тебе какую-то пользу. Я даже пробовала записать…

— Поэтому ты и зажгла свет? — спросил я, с трудом издавая звуки сдавленным горлом.

— Да. Но из этого ничего не вышло. Потому что я искала в себе… — их — чего-то другого, была совершенно сумасшедшей. Некоторое время мне казалось, что у меня под кожей нет тела, что во мне что-то другое, что я только… только снаружи… Чтобы тебя обмануть. Понимаешь?

— Понимаю!

— Если так вот лежать часами в ночи, то мыслями можно уйти далеко, в очень странном направлении, знаешь…

— Знаю…

— Но я чувствую сердце и ещё помнила, что ты брал у меня кровь. Какая у меня кровь, скажи мне, скажи правду. Теперь ведь можно.

— Такая же, как моя.

— Правда?

— Клянусь тебе!

— Что это значит? Знаешь, я думала, что, может

быть, то спрятано где-то во мне, что оно… ведь оно может быть очень маленьким. Но я не знала где. Теперь я думаю, что это были просто увёртки с моей стороны, я очень боялась того, что хотела сделать, и искала какой-то другой выход. Но, Крис, если у меня такая же кровь… если всё так, как ты говоришь, то… Нет, это невозможно. Ведь я уже умерла бы, правда! Значит, что-то всё-таки есть, но где? Может, в голове? Но я ведь мыслю совершенно обычно… и ничего не знаю… Если бы я мыслила тем, то должна была бы сразу всё знать и не любить, только притворяться и знать, что притворяюсь… Крис, прошу тебя, скажи мне всё, что знаешь, может быть, удастся что-нибудь сделать?

— Что должно удасться?

Она молчала.

— Хочешь умереть?

— Пожалуй, да.

Снова стало тихо. Я стоял перед ней, съёжившийся, глядя на пустой зал, на белые плиты эмалированных предметов, на блестящие рассыпанные инструменты, как будто отыскивая что-то очень нужное, и не мог этого найти.

— Хари, можно мне что-то тебе сказать?

Она ждала.

— Это правда, что ты не точно такая же, как я. Но это не значит, что ты хуже. Наоборот. Впрочем, можешь думать об этом что хочешь, но благодаря этому… ты не умерла.

Какая-то детская, жалобная улыбка появилась на её лице.

— Значит ли это, что я… бессмертна?

— Не знаю. Во всяком случае гораздо менее смертна, чем я.

— Это страшно, — шепнула она.

— Может быть, не так, как кажется.

— Но ты не завидуешь мне…

— Хари, это, пожалуй, вопрос твоего… предназначения, так бы я это назвал. Понимаешь, здесь, на Станции, твоё предназначение в сущности так же тёмно, как и моё и каждого из нас. Те будут продолжать эксперимент Гибаряна, и может случиться всё…

— Или ничего…

— Или ничего. И скажу тебе, что хотел бы, чтобы ничего не случилось, даже не из страха (хотя он тоже играет какую-то роль), а потому, что это ничего не даст. Только в этом я совершенно не уверен.

— Ничего не даст. А почему? Речь идёт об этом… океане?

Она вздрогнула.

— Да. О контакте. Они думают, что это очень просто. Контакт означает обмен какими-то сведениями, понятиями, результатами… Но если нечем обмениваться? Если слон не является очень большой бактерией, то океан не может быть очень большим мозгом. С обеих сторон могут, конечно, производиться какие-то действия. В результате одного из них я смотрю сейчас на тебя и пытаюсь тебе объяснить, что ты мне дороже, чем те двенадцать лет, которые я посвятил Солярису, и что я хочу быть с тобой. Может, твоё появление должно быть пыткой, может, услугой, может, микроскопическим исследованием. Выражением дружбы, коварным ударом, может, издевательством? Может быть, всем вместе или — что кажется мне самым правдоподобным — чем-то совсем иным. Но в конце концов разве нас должны занимать намерения наших родителей, как бы они друг от друга ни отличались? Ты можешь сказать, что от этих намерений зависит наше будущее, и с этим я соглашусь. Не могу предвидеть того, что будет. Так же, как ты. Не могу даже обещать тебе, что буду тебя всегда любить. После того, что случилось, я ничему не удивлюсь. Может, завтра ты станешь зелёной медузой? Это

от нас не зависит. Но в том, что от нас зависит, будем вместе. Разве этого мало?

— Слушай, — сказала она, — есть что-то ещё. Я… на неё… очень похожа?

— Была похожа… но теперь… я уже не знаю этого точно.

— Как это?

Она смотрела на меня большими глазами.

— Ты её уже заслонила.

— И ты уверен, что не её, а меня?… Меня?…

— Да. Тебя. Не знаю. Боюсь, что, если бы ты и вправду была ею, я не мог бы любить.

— Почему?

— Потому что сделал ужасную вещь.

— Ей?

— Да. Когда были…

— Не говори.

— Почему?

— Потому что хочу, чтобы ты знал: я — не она.

Разговор

На следующий день, вернувшись с обеда, я нашёл на столе под окном записку от Снаута. Он сообщал, что Сарториус пока прекратил работу над аннигилятором и пытается в последний раз воздействовать на океан пучком жёсткого излучения.

— Дорогая, — сказал я Хари, — мне нужно сходить к Снауту.

Красный восход горел в океане и делил комнату на две части. Мы стояли в тени. За её пределами всё казалось сделанным из меди, можно было подумать, что любая книжка, упав с полки, зазвенит.

— Речь идёт о том эксперименте. Только не знаю, как это сделать. Я хотел бы, понимаешь…

— Не объясняй, Крис. Мне так хочется… Если бы это не длилось долго…

— Ну, немного поговорить придётся. Слушай, а если бы ты пошла со мной и подождала в коридоре?

— Хорошо. Но если я не выдержу?

— Как это происходит? — спросил я и быстро

добавил: — Я спрашиваю не из любопытства, понимаешь? Но, может быть, разобравшись, ты смогла бы с этим справиться.

— Это страх, — ответила она, немного побледнев. — Я даже не могу сказать, чего боюсь, потому что, собственно, не боюсь, а только… как бы исчезаю. В последний момент чувствую такой стыд, не могу объяснить. А потом уже ничего нет. Поэтому я и думала, что это такая болезнь… — кончила она тихо и вздрогнула.

— Может быть, так только здесь, на этой проклятой Станции, — заметил я. — Что касается меня, то сделаю всё, чтобы мы её как можно быстрее покинули.

— Думаешь, это возможно?

— Почему бы нет? В конце концов я не прикован к ней… Впрочем, это будет зависеть также от того, что мы решим со Снаутом. Как ты думаешь, ты долго сможешь быть одна?

— Это зависит… — проговорила она медленно и опустила голову. — Если буду слышать твой голос, то, пожалуй, справлюсь с собой.

— Предпочёл бы, чтобы ты не слышала нашего разговора. Не то чтобы хотел от тебя что-нибудь скрыть, просто не знаю, что скажет Снаут…

— Можешь не кончать. Поняла. Хорошо. Встану

так, чтобы слышать только звук твоего голоса. Этого мне достаточно.

— Тогда я позвоню ему сейчас из лаборатории. Двери я оставляю открытыми.

Она кивнула. Я вышел сквозь стену красного света в коридор, который мне показался почти чёрным, хотя там горели лампы. Дверь маленькой лаборатории была открыта. Блестящие осколки сосуда Дьюара, лежащие на полу под большими резервуарами жидкого кислорода, были последними следами ночного происшествия. Когда я снял трубку и набрал номер радиостанции, маленький экран засветился. Потом синеватая плёнка света, как бы покрывающая матовое стекло, лопнула, и Снаут, перегнувшись боком через ручку высокого кресла, заглянул мне прямо в глаза.

— Приветствую, — услышал я.

— Я прочитал записку. Мне хотелось бы поговорить с тобой. Могу я прийти?

— Можешь. Сейчас?

— Да.

— Прошу. Будешь с… не один?

— Один.

Его бронзовое от ожога худое лицо с резкими поперечными морщинами на лбу, наклонённое в

выпуклом стекле набок (он был похож на какую-то удивительную рыбу, живущую в аквариуме), приобрело многозначительное выражение:

— Ну, ну. Итак, жду.

— Можем идти, дорогая, — начал я с не совсем естественным оживлением, входя в кабину сквозь красные полосы света, за которыми видел только силуэт Хари.

Голос у меня оборвался. Она сидела, забившись в кресло, вцепившись в него руками. Либо она слишком поздно услышала мои шаги, либо не могла ослабить этой страшной хватки и принять нормальное положение. Мне было достаточно, что я секунду видел её борющейся с этой непонятной силой, которая в ней крылась, и моё сердце сдавил слепой сумасшедший гнев, перемешанный с жалостью. Мы молча пошли по длинному коридору, минуя его секции, покрытые разноцветной эмалью, которая должна была — по замыслу архитекторов — разнообразить пребывание в этой бронированной скорлупе. Уже издалека я увидел приоткрытую дверь радиостанции. Из неё в глубину коридора падала длинная красная полоса света, солнце добралось и сюда. Я посмотрел на Хари, которая даже не пыталась улыбаться. Я видел, как всю дорогу

она сосредоточенно готовилась к борьбе с собой. Приближающееся напряжение уже сейчас изменило её лицо, которое побледнело и словно стало меньше. Не дойдя до двери несколько шагов, она остановилась. Я обернулся, но она легонько подтолкнула меня кончиками пальцев. В этот момент мои планы, Снаут, эксперимент, Станция — всё показалось мне ничтожным по сравнению с той мукой, которую ей предстояло пережить. Я почувствовал себя палачом и уже хотел вернуться, когда широкую полосу солнечного света заслонила тень человека. Ускорив шаги, я вошёл в кабину. Снаут стоял у самого порога, как будто шёл мне навстречу. Красное солнце пылало прямо за ним, и пурпурное сияние, казалось, исходило от его седых волос. Некоторое время мы смотрели друг на друга молча. Он словно изучал моё лицо. Его лица я не видел, ослеплённый блеском. Я обошёл Снаута и остановился у высокого пульта, из которого торчали гибкие стебли микрофонов. Он медленно повернулся, спокойно следя за мной, по обыкновению слегка скривив рот в гримасе, которая иногда казалась улыбкой, а иногда выражением усталости. Не спуская с меня глаз, подошёл к занимавшему всю стену металлическому шкафу, по обеим сторонам которого

громоздились сваленные кое-как груды запасных деталей радиоаппаратуры, термоаккумуляторы и инструменты, подтащил туда кресло и сел, опершись спиной об эмалированную дверцу.

Молчание, которое мы по-прежнему хранили, становилось по меньшей мере странным. Я вслушивался, сосредоточив внимание на тишине, наполнявшей коридор, где осталась Хари, но оттуда не доносилось ни звука.

— Когда будете готовы? — спросил я.

— Могли бы начать даже сегодня, но запись займёт ещё немного времени.

— Запись? Ты имеешь в виду энцефалограмму?

— Ну да, ты ведь согласился. А что?

— Нет, ничего.

— Слушаю, — заговорил Снаут, когда молчание стало угнетающим.

— Она уже знает… о себе. — Я понизил голос до шёпота.

Он поднял брови.

— Да?

У меня было впечатление, что он не был удивлён по-настоящему. Зачем же он притворялся? Мне сразу же расхотелось говорить, но я превозмог себя. «Пусть это будет лояльность, — подумал я, — если ничего больше».

— Начала догадываться с момента нашей беседы в библиотеке, наблюдала за мной, сопоставляла одно с другим, потом нашла магнитофон Гибаряна и прослушала плёнку…

Он не изменил позы, по-прежнему опершись о шкаф, но в его глазах зажглись маленькие искорки. Стоя у пульта, я видел дверь, открытую в коридор. Я заговорил ещё тише:

— Этой ночью, когда я спал, пыталась себя убить. Жидкий кислород.

Что-то зашелестело, легче, чем бумага от сквозняка. Я застыл, прислушиваясь к тому, что происходило в коридоре, но источник звука находился ближе. Что-то заскреблось, как мышь. Мышь! Чушь. Не было тут никаких мышей. Я исподлобья посмотрел на Снаута.

— Слушаю, — сказал он спокойно.

— Разумеется, ей это не удалось… во всяком случае она знает, кто она.

— Зачем ты мне это говоришь? — спросил он быстро.

Я не сразу сообразил, что ответить.

— Хочу, чтобы ты ориентировался… чтобы знал, какое положение…

— Я тебя предостерегал.

— Хочешь сказать, что ты знал. — Я невольно

повысил голос.

— Нет. Конечно, нет. Но я объяснял тебе, как это выглядит. Каждый «гость», когда появляется, действительно только фантом и вне хаотической мешанины воспоминаний и образов, почерпнутых из своего… Адама… совершенно пуст. Чем дольше он с тобой, тем больше очеловечивается. Приобретает самостоятельность, до определённых границ, конечно. Поэтому чем дольше это продолжается, тем труднее…

Он не договорил. Посмотрел на меня исподлобья и нехотя бросил:

— Она всё знает?

— Да, я уже сказал.

— Всё? И то, что раз уже здесь была и что ты…

— Нет!

Он усмехнулся.

— Кельвин, слушай, если до такой степени… что ты собираешься делать? Покинуть Станцию?

— Да.

— С ней?

— Да.

Он молчал, как бы задумавшись над моим ответом, но в его молчании было ещё что-то… Что? Снова этот неуловимый шелест тут, прямо за тонкой стенкой. Он пошевелился в кресле.

— Отлично. Что ты так смотришь? Думаешь, что встану у тебя на пути? Сделаешь, как захочешь, мой милый. Хорошо бы мы выглядели, если бы вдобавок ко всему начали ещё применять принуждение! Не собираюсь тебе мешать, только скажу: ты пытаешься в нечеловеческой ситуации поступать как человек. Может, это красиво, но бесполезно. Впрочем, в красоте я тоже не уверен, разве глупость может быть красивой? Но не в этом дело. Ты отказываешься от дальнейших экспериментов, хочешь уйти, забрав её. Так?

— Так.

— Но это тоже эксперимент. Ты подумал об этом?

— Как ты это понимаешь? Разве она… сможет?… Если вместе со мной, то не вижу…

Я говорил всё медленней, потом остановился. Снаут легко вздохнул.

— Мы все ведём здесь страусиную политику, Кельвин, но по крайней мере знаем об этом и не демонстрируем своего благородства.

— Я ничего не демонстрирую.

— Ладно. Я не хотел тебя обидеть. Беру назад то, что сказал о благородстве, но страусиная политика остаётся в силе. Ты проводишь её в особенно опасной форме. Обманываешь себя, и её, и снова

себя. Ты знаешь условия стабилизации системы, построенной из нейтринной материи?

— Нет. И ты не знаешь. Этого никто не знает.

— Разумеется. Но известно одно: такая система неустойчива и может существовать только благодаря непрекращающемуся притоку энергии. Мне объяснил Сарториус. Эта энергия создаёт вихревое стабилизирующее поле. Так вот: является ли это поле наружным по отношению к «гостю»? Или же источник поля находится в его теле? Понимаешь разницу?

— Да. Если оно наружное, то… она, то… такая…

— То, удалившись от Соляриса, такая система распадается, — докончил он за меня. — Утверждать этого мы не можем, но ты ведь уже проделал эксперимент. Та ракета, которую ты запустил… она всё ещё на орбите. В свободное время я даже определил элементы её движения. Можешь полететь, выйти на орбиту, приблизиться и проверить, что стало с… пассажиркой.

— Ты ошалел! — крикнул я.

— Ты думаешь? Ну… а если бы… стащить сюда эту ракету? Это можно сделать. Есть дистанционное управление. Сними её с орбиты…

— Перестань!

— Тоже нет? Что ж, есть ещё один способ, очень

простой. Не нужно даже сажать её на Станции. Зачем? Пусть кружится дальше. Мы только свяжемся с ней по радио, если она жива, то ответит…

— Но… но там давно кончился кислород! — выдавил я из себя.

— Может обходиться без кислорода. Ну, попробуем!

— Снаут… Снаут…

— Кельвин… Кельвин… — передразнил он меня сердито. — Подумай, что ты за человек. Кого хочешь осчастливить? Спасти? Себя? Её? Которую? Эту или ту? На обеих смелости уже не хватает? Сам видишь, к чему приводит это! Говорю тебе последний раз: здесь ситуация вне морали.

Вдруг я снова услышал тот же звук, как будто кто-то царапал ногтями по стене. Не знаю, почему меня охватил такой пассивный, безразличный покой. Я чувствовал себя так, будто всю эту ситуацию, нас обоих, всё рассматривал с огромного расстояния в перевёрнутый бинокль: маленькое, немного смешное, неважное.

— Ну, хорошо, — сказал я. — И что, по-твоему, я должен сделать? Устранить её? Завтра явится такая же самая, правда? И ещё раз? И так ежедневно? Как долго? Зачем? Какая мне от этого

польза? А тебе? Сарториусу? Станции?

— Нет, сначала ты мне ответь. Улетишь с ней и, скажем, будешь свидетелем наступающей перемены. Через пару минут увидишь перед собой…

— Ну что? — спросил я кисло. — Чудовище? Чёрта? Что?

— Нет. Самую обыкновенную агонию. Ты действительно поверил в её бессмертие? Уверяю тебя, что умирают… Что сделаешь тогда? Вернёшься за… резервной?

— Перестань!!! — я стиснул кулаки.

Он смотрел на меня со снисходительной насмешкой в прищуренных глазах.

— А, это я должен перестать? Знаешь, на твоём месте я бы прекратил этот разговор. Лучше уж делай что-нибудь другое, можешь, например, из мести высечь океан розгами. Что тебя мучает? Если… — он сделал рукой утрированный прощальный жест, одновременно поднял глаза к потолку, как будто следил за каким-то улетающим предметом, — то будешь подлецом? А так нет? Улыбаться, когда хочется выть, изображать радость и спокойствие, когда хочется кусать пальцы, тогда не подлец? А что если здесь нельзя не быть? Что тогда? Будешь бросаться на Снаута, который во всём виноват, да? Ну, так вдобавок ты

ещё и идиот, мой милый…

— Ты говоришь о себе, — проговорил я, опустив голову. — Я… люблю её.

— Кого? Своё воспоминание?

— Нет. Её. Я сказал тебе, что она хотела сделать. Так не поступил бы ни один… настоящий человек.

— Сам признаёшь…

— Не лови меня на слове.

— Хорошо. Итак, она тебя любит. А ты хочешь её любить. Это не одно и то же.

— Ошибаешься.

— Кельвин, мне очень неприятно, но ты сам заговорил об этих своих интимных делах. Не любишь. Любишь. Она готова отдать жизнь. Ты тоже. Очень трогательно, очень красиво, возвышенно, всё, что хочешь. Но всему этому здесь нет места. Нет. Понимаешь? Нет, ты этого не хочешь понять. Ты впутался в дела сил, над которыми мы не властны, в кольцевой процесс, в котором она частица. Фаза. Повторяющийся ритм. Если бы она была… если бы тебя преследовало готовое сделать для тебя всё чудовище, ты бы ни секунды не колебался, чтобы устранить его. Правда?

— Правда.

— А может… может, она именно потому не

выглядит таким чудовищем! Это связывает тебе руки? Да ведь о том-то и идёт речь, чтобы они были связаны!

— Это ещё одна гипотеза к миллиону тех, в библиотеке. Снаут, оставь это, она… Нет. Не хочу об этом с тобой говорить.

— Хорошо. Сам начал. Но подумай только, что в сущности она зеркало, в котором отражается часть твоего мозга. Если она прекрасна, то только потому, что прекрасно было твоё воспоминание. Ты дал рецепт. Кольцевой процесс, не забывай.

— Ну и чего же ты хочешь от меня? Чтобы я… чтобы я её… устранил? Я уже спрашивал тебя: зачем? Ты не ответил.

— Сейчас отвечу. Я не напрашивался на этот разговор. Не лез в твои дела. Ничего тебе не приказывал и не запрещал, и не сделал бы этого, если бы даже мог. Это ты сам пришёл сюда и выложил мне всё, а знаешь зачем? Нет? Затем, чтобы снять это с себя. Свалить. Я знаю эту тяжесть, мой дорогой! Да, да, не прерывай меня. Я тебе не мешаю ни в чём, но ты хочешь, чтобы помешал. Если бы я стоял у тебя на пути, может, ты бы мне голову разбил. Тогда имел бы дело со мной, с кем-то, слепленным из той же крови и плоти, что и ты, и сам бы чувствовал как человек. А так… не

можешь с этим справиться и поэтому споришь со мной… а по сути дела с самим собой! Скажи мне ещё, что страдание согнуло бы тебя, если бы она вдруг исчезла… нет, ничего не говори.

— Ну, знаешь! Я пришёл, чтобы сообщить просто из чувства лояльности, что собираюсь покинуть с ней Станцию, — отбивал я его атаку, но для меня самого это прозвучало неубедительно.

Снаут пожал плечами.

— Очень может быть, что ты останешься при своём мнении. Если я высказался по этому поводу, то только потому, что ты лезешь всё выше, а падать с высоты, сам понимаешь… Приходи завтра утром около девяти наверх, к Сарториусу… Придёшь?

— К Сарториусу? — удивился я. — Но ведь он никого не впускает. Ты говорил, что даже позвонить нельзя.

— Теперь он как-то справился. Мы об этом не говорим, знаешь. Ты… совсем другое дело. Ну, это неважно. Придёшь завтра?

— Приду.

Я смотрел на Снаута. Его левая рука будто случайно скрылась за дверцей шкафа. Когда они открылись? Пожалуй, уже давно, но в пылу неприятного для меня разговора я не обратил на

это внимания. Как неестественно это выглядело… Как будто… что-то там прятал. Или кто-то держал его за руку. Я облизал губы.

— Снаут, что ты?…

— Выйди, — сказал он тихо и очень спокойно. — Выйди.

Я вышел и закрыл за собой дверь, освещённую догорающим красным заревом. Хари сидела на полу в каких-нибудь десяти шагах от двери, у самой стены. Увидев меня, вскочила.

— Видишь? — сказала, глядя на меня блестящими глазами. — Удалось, Крис… Я так рада, Может… может, будет всё лучше…

— О, наверняка, — ответил я рассеянно.

Мы возвращались к себе, а я ломал голову над загадкой этого идиотского шкафа. Значит, значит, спрятал там?… И весь этот разговор?… Щёки у меня начали гореть так, что я невольно потёр их. Что за сумасшествие. И до чего мы договорились? Ни до чего. Правда, завтра утром…

И вдруг меня охватил страх, почти такой же, как в последнюю ночь. Моя энцефалограмма. Полная запись всех мозговых процессов, переведённых в колебания пучка лучей, будет послана вниз. В глубины этого необъятного безбрежного чудовища. Как он сказал: «Если бы она исчезла,

ты бы ужасно страдал, а?» Энцефалограмма — это полная запись. Подсознательных процессов тоже. А если я хочу, чтобы она исчезла, умерла? Разве иначе меня удивило бы так, что она пережила это ужасное покушение? Можно ли отвечать за собственное подсознание? Если я не отвечаю за него, то кто?… Что за идиотизм? За каким чёртом я согласился, чтобы именно мою… мою… Могу, конечно, заучить предварительно эту запись, но ведь прочитать не сумею. Этого никто не может. Специалисты в состоянии лишь определить, о чём думал подопытный, но только в самых общих чертах: что решал, например, математическую задачу, но сказать, какую, они уже не в состоянии. Утверждают, что это невозможно, так как энцефалограмма — случайная смесь огромного множества одновременно протекающих процессов и только часть их имеет психическую «подкладку». А подсознание?… О нём вообще не хотят говорить, а где уж им читать чьи-то воспоминания, подавленные или неподавленные… Но почему я так боюсь? Сам ведь говорил утром Хари, что этот эксперимент ничего не даст. Уж если наши нейрофизиологи не умеют читать записи, то как же этот страшно чужой, чёрный, жидкий гигант…

Но он вошёл неизвестно как, чтобы измерить всю мою память и найти самую болезненную её частичку. Как же в этом сомневаться? И если без всякой помощи, без какой-либо «лучевой передачи», вторгаясь через дважды герметизированный панцирь, сквозь тяжёлую броню Станции, нашёл в ней меня и ушёл с добычей…

— Крис?… — тихо позвала Хари.

Я стоял у окна, уставившись невидящими глазами в начинающуюся ночь.

Если она потом исчезнет, то это будет означать, что я хотел… Что убил её. Не ходить туда? Они не могут меня заставить. Но что я скажу им? Это — нет. Не могу. Значит, нужно притворяться, нужно врать снова и всегда. И это потому, что, может быть, во мне есть мысли, намерения, надежды, страшные, преступные, а я ничего о них не знаю. Человек отправился познавать иные миры, иные цивилизации, не познав до конца собственных тайников, закоулков, колодцев, забаррикадированных тёмных дверей. Выдать им её… от стыда? Выдать только потому, что у меня недостаёт отваги?

— Крис… — ещё тише, чем до этого, шепнула Хари.

Я скорее почувствовал, чем услышал, как она

бесшумно подошла ко мне, и притворился, что ничего не заметил. В этот момент я хотел быть один. Я ещё ни на что не решился, ни к чему не пришёл… Глядя в темнеющее небо, в звёзды, которые были только прозрачной тенью земных звёзд, я стоял без движения, а в пустоте, пришедшей на смену бешеной гонке мыслей, росла без слов мёртвая, равнодушная уверенность, что там, в недостижимых для меня глубинах сознания, там я уже выбрал и, притворяясь, что ничего не случилось, не имел даже силы, чтобы презирать себя.

Эксперимент

— Крис, это из-за того эксперимента?

От звука её голоса я вздрогнул. Я уже несколько часов лежал без сна, погрузившись в темноту, совсем один. Я не слышал даже её дыхания и в запутанном лабиринте ночных мыслей, призрачных, наполовину бессмысленных и приобретающих от этого новое значение, забыл о ней.

— Что… откуда ты знаешь, что я не сплю?… — Мой голос звучал испуганно.

— По тому, как ты дышишь… — ответила она тихо и как-то виновато. — Не хотела тебе мешать… Если не можешь, не говори…

— Нет, почему же. Да, это тот эксперимент. Угадала.

— Чего они от него ждут?

— Сами не знают. Чего-то. Чего-нибудь. Эта операция называется не «Мысль», а «Отчаяние». Теперь нужно только одно: человек, у которого хватило бы смелости взять на себя ответственность за решение, но этот вид смелости большинство считает обычной трусостью, потому что это отступление, понимаешь, примирение, бегство,

недостойное человека. Как будто достойно человека вязнуть, захлёбываться и тонуть в чём-то, чего он не понимает и никогда не поймёт.

Я остановился, но, прежде чем моё учащённое дыхание успокоилось, новая волна гнева захлестнула меня:

— Разумеется, никогда нет недостатка в людях с практическим взглядом. Они говорили, что если даже контакт не удастся, то, изучая эту плазму — все эти шальные живые создания, которые выскакивают из неё на сутки, чтобы снова исчезнуть, — мы познаём тайну материи, будто не знали, что это ложь, что это равносильно посещению библиотеки, где книги написаны на неизвестном языке, так что можно только рассматривать цветные переплёты… А как же!

— А есть ещё такие планеты?

— Неизвестно. Может, и есть, но мы знаем только одну. Во всяком случае это что-то очень редкое, не так, как Земля. Мы… мы обычны, мы трава Вселенной и гордимся этой нашей обыкновенностью, которая так всеобща, и думаем, что в ней всё можно уместить. Это была такая схема, с которой отправлялись смело и радостно вдаль, в иные миры! Но что же это такое, иные миры? Покорим их или будем покорены, ничего

другого не было в этих несчастных мозгах… А, ладно. Не стоит.

Я встал и на ощупь нашёл в аптечке коробочку со снотворным.

— Буду спать, дорогая, — сказал я, отворачиваясь в темноту, в которой высоко шумел вентилятор. — Должен спать. Или сам не знаю…

Утром, когда я проснулся свежим и отдохнувшим, эксперимент показался мне чем-то совсем незначительным. Я не понимал, как мог придавать ему такое значение. То, что Хари должна пойти со мной в лабораторию, тоже мало меня волновало. Все её усилия становились напрасны после того, как я на несколько минут уходил из комнаты. Я отказался от дальнейших попыток, на которых она настаивала (готовая даже позволить запереть себя), и посоветовал ей взять с собой какую-нибудь книжку.

Больше самой процедуры меня интересовало, что я увижу в лаборатории. Кроме больших дыр в стеллажах и шкафах (в некоторых шкафах ещё недоставало стенок, а плита одной двери была в звездообразных трещинах, словно здесь недавно происходила борьба и её следы были поспешно, но аккуратно ликвидированы), в этом светло-голубом зале не было ничего примечательного.

Снаут, хлопотавший возле аппаратуры, вёл себя весьма удачно, приняв появление Хари как нечто совершенно обыкновенное, и слегка поклонился ей издали. Когда он смачивал мне виски и лоб физиологическим раствором, появился Сарториус. Он вошёл в маленькую дверь, ведущую куда-то в темноту. На нём был белый халат и чёрный защитный фартук, достававший до щиколоток. Он поздоровался со мной так, будто мы были сотрудниками большого земного института и расстались только вчера. Лишь теперь я заметил, что мёртвое выражение его лицу придают контактные стёкла, которые он носил под веками вместо очков.

Скрестив на груди руки, Сарториус смотрел, как Снаут обматывает бинтом приложенные к моей голове электроды. Он несколько раз оглядел зал, как бы вообще не замечая Хари, которая сидела на маленькой скамеечке, у стены, съёжившаяся, несчастная, и притворялась, что читает книгу. Снаут отошёл от моего кресла. Я пошевелил тяжёлой от металла и проводов головой, чтобы видеть, как он включает аппаратуру, но Сарториус неожиданно поднял руки и заговорил с воодушевлением:

— Доктор Кельвин, прошу вас быть внимательнее.

ным. Я не намерен ничего вам приказывать, так как это не дало бы результата, но прошу прекратить думать о себе, обо мне, о коллеге Снауте, о каких-либо других лицах, чтобы исключить все случайности и сосредоточиться на деле, для которого мы здесь находимся. Земля и Солярис, поколения исследователей, составляющих единое целое, хотя отдельные люди имеют начало и конец, наша настойчивость в стремлении установить интеллектуальный контакт, длина исторического пути, пройденного человечеством, уверенность в том, что он будет продолжен, готовность к любым жертвам и трудностям, к подчинению всех личных чувств этой нашей миссии — вот темы, которые должны заполнить ваше сознание. Правда, течение мыслей не зависит целиком от вашего желания, но то, что вы здесь находитесь, подтверждает подлинность представленной мной последовательности. Если вы не будете уверены, что справитесь с задачей, прошу сообщить об этом, коллега Снаут повторит запись. Времени у нас достаточно.

Последние слова он проговорил с бледной сухой улыбкой, которая не сделала его взгляд менее пронзительным.

У меня внутри всё переворачивалось от потока

этих серьёзных, с такой значительностью провозглашённых фраз. К счастью, Снаут прервал продолжительную паузу.

— Можно, Крис? — спросил он, опершись локтем о высокий пульт электроэнцефалографа небрежно и фамильярно, словно опирался на спинку кресла. Я был благодарен ему за то, что он назвал меня по имени.

— Можно, — ответил я, закрывая глаза.

Волнение, которое опустошило мой мозг, исчезло, как только Снаут кончил крепить электроды и положил пальцы на кнопки. Сквозь ресницы я увидел розоватый свет контрольных лампочек на чёрной панели прибора. Постепенно пропадало неприятное ощущение от прикосновения влажных, холодных электродов. Я был как серая неосвещённая арена. Эту пустоту наблюдала толпа зрителей, возвышающаяся амфитеатром вокруг молчания, в котором нарастало ироническое презрение к Сарториусу и Миссии. Напряжение внутренних наблюдателей ослабевало. «Хари?» — я подумал это слово на пробу, с бессознательным беспокойством, готовый сразу же отступить. Но моя бдительная, слепая аудитория не протестовала. Некоторое время я был сплошной чувствительностью, искренней жало-

стью, готовый к мучительным долгим жертвам. Хари наполняла меня без форм, без силуэта, без лица, и вдруг сквозь безличный, отчаянно сентиментальный образ во всём авторитете своего профессорского обличья привиделся мне в серой тьме Гезе, отец соляристики и соляристов. Но не о грязевом извержении, не о зловонной пучине, поглотившей его золотые очки и аккуратно расчёсанные седые усы, думал я. Я видел только гравюру на титульном листе монографии, густо заштрихованный фон, которым художник окружил его голову, так что она оказалась в ореоле. Его лицо было так похоже, не чертами, а добросовестной старомодной рассудительностью, на лицо моего отца, что в конце концов я уже не знал, кто из них смотрит на меня. У них обоих не было могилы, вещь в наше время настолько обычная и частая, что не вызывала никаких особенных переживаний.

Образ уже пропадал, а я на одно, не знаю, какое долгое мгновение забыл о Станции, об эксперименте, о Хари, о чёрном океане, обо всём, наполненный быстрой, как молния, уверенностью, что те двое, уже не существующие, страшно маленькие, превращённые в засохшее болото люди справились со всем, что их встретило, и

исходящий от этого открытия покой уничтожил бесформенную толпу, которая окружала серую арену в немом ожидании моего поражения.

Одновременно с двойным щелчком, выключившим аппаратуру, по глазам ударил свет. Сарториус, стоявший всё в той же позе, смотрел на меня изучающе. Снаут, повернувшись к нему спиной, возился с приборами, будто умышленно шлёпая сваливающимися с ног сандалиями.

— Как вы считаете, доктор Кельвин, удалось? — прозвучал носовой, отталкивающий голос Сарториуса.

— Да, — ответил я.

— Вы в этом уверены? — с оттенком удивления и даже подозрительности спросил Сарториус.

— Да.

Моя уверенность и резкий тон сбили с него на мгновение холодную важность.

— Это… хорошо, — пробурчал он и осмотрелся, как бы не зная, что теперь со мной делать.

Снаут подошёл ко мне и начал снимать повязку.

Я встал и прошёлся по залу, и в это время Сарториус, который исчез в темноте, вернулся с уже проявленной и высохшей плёнкой. На полутора десятках метров записи тянулись дрожащие

линии со светлыми зубцами, какая-то плесень или паутина, растянутая на чёрной скользкой целлулоидной плёнке.

Мне больше нечего было делать, но я не ушёл. Те двое вставили в оксидированную кассету модулятора запись, конец которой Сарториус просмотрел ещё раз, недоверчиво насупившись, словно пытался расшифровать заключённый в этих трепещущих линиях смысл.

Остальная часть эксперимента была невидима. Я видел только, что делается, когда они подошли к пультам управления и привели аппаратуру в действие. Ток проснулся со слабыми басовитым мурлыканьем в обмотках катушек под стальным полом, и только потом огоньки на вертикальных остеклённых трубках указателей побежали вниз, показывая, что большой тубус рентгеновского аппарата опускается в вертикальный колодец, чтобы остановиться в его открытой горловине. Огоньки застыли на самых нижних делениях шкалы, и Сарториус начал увеличивать напряжение, пока стрелки, точнее, белые просветы, которые их заменяли, не сделали, покачиваясь, полного оборота. Гудение стало едва слышным, ничего больше не происходило, бобины с плёнкой вращались под кожухом, так что даже этого

нельзя было увидеть, счётчик метража тихонько постукивал, как часовой механизм.

Хари смотрела поверх книги то на меня, то на них. Я подошёл к ней. Она взглянула испытующе. Эксперимент уже кончился. Сарториус медленно подошёл к большой конусной головке аппарата.

— Идём?… — одними губами спросила Хари.

Я кивнул головой. Она встала. Не прощаясь ни с кем — это выглядело бы слишком бессмысленным, — я прошёл мимо Сарториуса.

Высокие окна верхнего коридора заполнял закат исключительной красоты. Это был не обычный, унылый, распухший багрянец, а все оттенки затуманенного, как бы обсыпанного мельчайшим серебром розового цвета. Тяжёлая, неподвижно всхолмлённая чернь бесконечной равнины океана, казалось, отвечая на это тёплое сияние, искрилась мягким буро-фиолетовым отблеском. Только у самого горизонта небо упорно оставалось рыжим.

Внезапно я остановился посредине нижнего коридора. Я просто не мог думать о том, что снова, как в тюремной камере, мы закроемся в кабине, из которой виден только океан.

— Хари, — сказал я, — знаешь… я заглянул бы в библиотеку… Ты ничего не имеешь против?

— О, с удовольствием, поищу что-нибудь почитать, — ответила она с немного искусственным оживлением.

Я чувствовал, что со вчерашнего дня между нами образовалась трещина и что я должен быть с ней добрее, но меня охватила полная апатия. Не знаю, что могло бы меня из неё вывести.

Мы вернулись обратно и вошли в маленький тамбур. Здесь было три двери, а между ними цветы, словно в каких-то витринах за большими кристаллическими стёклами.

Средняя дверь, ведущая в библиотеку, была с обеих сторон покрыта выпуклой искусственной кожей, до которой я почему-то всегда старался не дотрагиваться. В большом круглом зале с потолком, разрисованным стилизованными солнцами, было немного прохладней.

Я провёл рукой по корешкам томов солярианской классики и уже хотел взять Гезе, когда неожиданно обнаружил незамеченный в прошлый раз потрёпанный томик Гравинского.

Я уселся в мягкое кресло. Было совсем тихо. За моей спиной Хари перелистывала какую-то книжку, я слышал лёгкий шелест страниц под её пальцами. Справочник Гравинского был сборником расположенных в алфавитном порядке

соляристических гипотез. Компилятор, который ни разу даже не видел Соляриса, перерыл все монографии, протоколы экспедиций, отдельные статьи и предварительные сообщения, использовал работы планетологов, изучающих другие планеты, и создал каталог, несколько пугающий лапидарностью формулировок, которые становились тривиальными, убивая утончённую сложность породивших эти гипотезы мыслей. Впрочем, в смысле энциклопедичности это произведение представляло скорее ценность курьёза; оно было издано двадцать лет назад, и за это время выросла гора новых гипотез, которые не вместились бы ни в одну книгу. Из авторов, представленных в справочнике, в живых остались немногие, и, пожалуй, никто из них уже не занимался соляристикой активно. Всё это охватывающее самые разнообразные направления интеллектуальное богатство создавало впечатление, что какая-нибудь гипотеза просто обязана быть истинной, казалось невозможным, чтобы действительность была совершенно от них отличной, иной, чем мириады выдвинутых предположений. В предисловии к справочнику Гравинский поделил известные ему шестьдесят лет соляристики на периоды. Во время первого,

начинающегося с момента открытия Соляриса, никто не предлагал гипотез сознательно. Тогда как-то интуитивно, с точки зрения, «здравого смысла», было принято, что океан является мёртвым химическим конгломератом, который обладает способностью создавать удивительные формы благодаря своей квазивулканической деятельности и своеобразному автоматизму процессов, стабилизирующих неустойчивую орбиту, подобно тому, как маятник удерживается в однажды заданной плоскости колебаний. Правда, уже через три года Мажино высказался за живую природу «студенистой машины», но Гравинский период биологических гипотез датировал лишь на девять лет позднее, когда предположение Мажино, находившегося до этого в полном одиночестве, стало завоёвывать многочисленных сторонников. Последующие годы изобиловали очень сложными, подкреплёнными биоматематическим анализом, подробными моделями теоретически живого океана.

Третий период был отмечен распадом почти монолитного единства соляристики и появлением большого количества яростно соперничающих школ. Это было время деятельности Панмаллера, Страбли, Фрейхауза, Легрейе, Осиповича. Всё

наследство Гезе было подвёрнуто тогда уничтожающей критике. Были созданы первые атласы, каталоги, стереофотографии симметриад, которые до тех пор считались формами, не поддающимися изучению; перелом наступил благодаря новым, дистанционно управляемым аппаратам, которые посылались в бурлящие бездны ежесекундно угрожающих взрывом колоссов. Тогда же появились гипотезы минималистов, гласящие, что если даже пресловутого «контакта» с «разумным чудовищем» установить не удастся, то и в этом случае изучение мимоидов и шарообразных гор, которые океан выбрасывает, чтобы затем вновь поглотить, принесёт весьма ценные химические и физикохимические знания, новые сведении о структуре гигантских молекул и т.д. Но со сторонниками подобных идей никто даже не вступал в полемику. Это был период, когда появились до сих пор не потерявшие своего значения каталоги типовых метаморфоз или биоплазматическая теория мимоидов Франка, которая, хоть и была отвергнута как ложная, всё же осталась великолепным примером интеллектуального размаха и логики.

Эти «периоды Гравинского» были наивной молодостью, стихийным оптимистическим ро-

мантизмом, наконец — отмеченной первыми скептическими голосами — зрелостью соляристики. Уже к концу двадцатипятилетия появились — как возрождение первых, коллоидно-механических — гипотезы, бывшие их запоздалым потомством, об апсихичности соляристического океана. Всяческие поиски проявления сознательной воли, целесообразности процессов, действий, мотивированных внутренними потребностями океана, были почти всеми признаны каким-то вывихом целого поколения учёных. Яростное стремление опровергнуть их утверждения подготовило почву для трезвых, разработанных аналитически, базирующихся на огромном количестве, старательно подобранных фактов исследований группы Холдена, Эонидаса, Столивы. Это было время стремительного разбухания и разрастания архивов, картотек микрофильмов. Одна за другой отправлялись экспедиции, оснащённые всевозможной техникой — самопишущими регистраторами, отметчиками, зондами, какую только могла дать Земля. В некоторые годы в исследованиях одновременно участвовало более тысячи человек. Однако уже в то время, когда темп неустанного накопления материалов всё ещё увеличивался, идея, воодушевившая учёных,

становилась всё более бесплодной. Начинался период (который трудно точно определить по времени) упадка соляристики.

История изучения Соляриса была отмечена прежде всего большими, яркими индивидуальностями, сильными характерами — Гезе, Штробл, Севда, который был последним из великих соляристов. Он погиб при загадочных обстоятельствах в районе южного полюса планеты, так глупо, как не мог бы погибнуть даже новичок. На глазах у сотни наблюдателей он направил свою летящую над самым океаном машину в глубь «быстренника», который, это было отчётливо видно, пытался уступить ему дорогу. Говорили о какой-то внезапной слабости, обмороке, неисправности управления… В действительности же это, по моему мнению, было первое самоубийство, первый внезапный взрыв отчаяния. Первый, но не последний.

Постепенно в соляристике оставалось всё меньше великих индивидуальностей. Люди больших способностей и большой силы характеры рождаются с более или менее постоянной частотой, но неодинаков их выбор. Их присутствие или нехватку в определённой области науки можно, пожалуй, объяснить перспективами, какие она

открывает. Различно оценивая классиков соляристики, нельзя отказать им в таланте, может быть, даже в гениальности. Лучших математиков, физиков, известнейших специалистов в области биофизики, теории информации, электрофизиологии притягивал к себе молчащий гигант в течение десятилетий. Потом год от года армия исследователей теряла своих вождей. Осталась серая безымянная толпа терпеливых собирателей фактов, создателей многих оригинальных экспериментов, но не было уже массовых экспедиций в масштабе целой планеты, смелых, объединяющих разнообразные факты и явления гипотез.

Соляристика начинала разваливаться, и как бы аккомпанементом параллельно её снижающемуся полёту, массово расплодились разнящиеся друг от друга лишь второстепенными деталями гипотезы о дегенерации, инволюции, умирании соляристических морей. Время от времени появлялись более смелые, более интересные мысли, но в общем океан был признан конечным продуктом развития, который давно, тысячелетия назад, пережил период наивысшей организации, а теперь, цельный только физически, уже распадался на многочисленные ненужные, бессмысленные

агонизирующие создания.

Я был знаком с оригинальными работами нескольких европейских психологов, которые на протяжении длительного времени изучали реакцию общественного мнения, собирая самые заурядные высказывания, голоса неспециалистов, и показали таким образом удивительно тесную связь между изменениями этого мнения и процессами, происходившими одновременно в научной среде.

Так, в кругах координационной группы Планетологического института, там, где решался вопрос о материальной поддержке исследований, происходили перемены, выражавшиеся в непрерывном, хотя и ступенчатом, уменьшении бюджета соляристических институтов и баз, а также дотаций для экспедиций, отправляющихся на планету.

Голоса, настаивавшие на необходимости свёртывания исследований, перемешивались с выступлениями тех, кто требовал применения сильнодействующих средств. Но, пожалуй, никто не зашёл дальше административного директора Всемирного Космологического института, который упорно говорил, что живой океан вовсе не игнорирует людей, а просто их не замечает, как

слон — муравья, гуляющего по его спине, и, для того чтобы привлечь внимание океана и сконцентрировать его на нас, необходимо применить более мощные импульсы и машины-гиганты в масштабе всей планеты. Пикантной деталью было здесь то, как подчёркивала пресса, что таких дорогостоящих начинаний требовал директор Космологического, а не Планетологического института, который финансировал исследования Соляриса. Это была щедрость за счёт чужого кармана.

И снова коловорот новых гипотез, оживление старых, введение в них несущественных изменений…

В результате соляристика оказалась загнанной во всё более разветвляющийся, полный тупиков лабиринт. В атмосфере всеобщего равнодушия, застоя и обескураженности другой, бесплодный, никому не нужный бумажный океан сопутствовал океану Соляриса.

«Возможно, мы дошли до поворотного пункта», — думал я. Мнение об отказе, об отступлении сейчас или в недалёком будущем могло взять верх. Даже ликвидацию Станции я не считал невозможной или маловероятной. Но я не верил, чтобы таким способом удалось спасти что-нибудь. Само

существование мыслящего колосса никогда уже не даст людям покоя. Пусть мы исходим галактики, пусть свяжемся с иными цивилизациями похожих на нас существ. Солярис будет вечным вызовом, брошенным человеку.

Сны

Отсутствие каких-либо реакций заставило нас через шесть дней повторить эксперимент, причём Станция, которая до сих пор находилась неподвижно на пересечении сорок третьей параллели со сто шестнадцатым меридианом, начала двигаться, удерживая высоту четыреста метров над океаном, в южном направлении, где, как показывали радарные датчики и радиограммы сателлоида, активность плазмы значительно увеличилась.

В течение двух суток модулированный моей энцефалограммой пучок рентгеновских лучей каждые несколько часов ударял в почти совершенно гладкую поверхность океана.

К концу вторых суток мы находились уже так близко от полюса, что, когда почти весь диск голубого солнца прятался за горизонтом, пурпурный ореол вокруг туч на его противоположной стороне возвещал о восходе красного солнца.

Сразу же после захода голубого солнца в северо-западном направлении показалась симметриада, немедленно отмеченная сигнализаторами, пы-

лающая так, что её почти нельзя было отличить от залитого багрянцем тумана, и выделяющаяся на его фоне только отдельными зеркальными отблесками, как вырастающий там, на стыке неба и плазмы, гигантский стеклянный цветок. Станция, однако, не изменила курса, и через четверть часа светящийся дрожащим красным светом, словно угасающая рубиновая лампа, колосс скрылся за горизонтом.

И снова минуло двое суток, эксперимент был повторён в последний раз, рентгеновские уколы охватили уже довольно большой кусок океана. На юге показались отчётливо видные, несмотря на то что они были на расстоянии трёхсот километров, Арреииды — скалистый клочок суши с шестью как бы покрытыми снегом вершинами. На самом деле это был налёт органического происхождения, свидетельствовавший, что эта формация была когда-то дном океана.

Мы сменили курс на юго-восточный и некоторое время двигались параллельно горной цепи, покрытой тучами, характерными для красного дня. Затем горы исчезли. С момента первого эксперимента прошло десять дней.

Всё это время на Станции ничего не происходило. Сарториус один раз составил программу

эксперимента, и теперь её повторяла автоматическая аппаратура, я не был уверен даже, что кто-нибудь контролировал её работу. Но одновременно на Станции происходило гораздо больше событий, чем можно было желать. Правда, люди были здесь ни при чём. Я опасался, что Сарториус будет добиваться возобновления работы над аннигилятором. Кроме того, я ждал реакции Снаута, когда он узнает от Сарториуса, что я его обманул, преувеличив опасность, которую могло вызвать уничтожение нейтринной материи. Однако ничего такого не случилось по причинам, сначала для меня совершенно загадочным. Естественно, я принимал во внимание возможность какого-нибудь подвоха с их стороны. Думал, что они тайно занимаются какими-то приготовлениями и работали. Ежедневно заглядывал в помещение без окон, которое было расположено под главной лабораторией и где находился аннигилятор. Я ни разу не заставал там никого, а тонкий слой пыли, покрывающей аппаратуру, говорил, что к ней много недель никто даже не притрагивался.

Снаут в это время стал таким же невидимым, как Сарториус, и ещё более, чем тот, неуловимым — визиофон радиостанции не отвечал на вызовы. Движением Станции кто-то должен

был управлять, но не могу сказать, кто, меня это просто не интересовало, хотя, возможно, это и звучит странно. Отсутствие реакций со стороны океана также оставляло меня равнодушным до такой степени, что через два или три дня я почти перестал на них рассчитывать или бояться их и полностью забыл и об океане, и об эксперименте. Целыми днями я просиживал либо в библиотеке, либо в кабине с Хари, которая как тень сновала вокруг меня. Я видел, что у нас всё нехорошо и что это состояние апатичной и бессмысленной неустойчивости не может тянуться бесконечно. Я должен был как-то его поломать, что-то изменить в наших отношениях, но даже мысль о какой-нибудь перемене я отбрасывал, неспособный принять определённое решение.

Я не могу этого объяснить точнее, но мне казалось, что всё на Станции, а особенно то, что существует между Хари и мной, находится в состоянии страшно неустойчивого равновесия и нарушение его может всё превратить в развалины. Почему? Не знаю. Самым странным было то, что и она чувствовала, во всяком случае в какой-то мере, что-то похожее. Когда я думаю об этом сейчас, мне кажется, что впечатление неуверенности, временности всего происходя-

щего, надвигающихся потрясений создавала не проявляющаяся никаким другим способом, наполняющая всё помещение Станции действительность. Хотя, возможно, была ещё одна разгадка: сны. Поскольку я решил записывать их содержание и только поэтому могу о них хоть что-нибудь сказать. Но это тоже только обрывки, лишённые их ужасающего разнообразия.

В каких-то непонятных обстоятельствах, в пространстве, лишённом неба, земли, потолков, полов, стен, я находился как бы смешанный или увязший в субстанции, внешне мне чужой, как если бы моё тело вросло в полуметровую, неповоротливую, бесформенную глыбу, или, точнее, как если бы я сам стал ею. Меня окружали неясные сначала пятна бледно-розового цвета, висящие в пространстве с иными оптическими свойствами, чем у воздуха, так что только на очень близком расстоянии предметы становились чёткими, и даже чрезмерно, неестественно чёткими, так как в этих снах моё непосредственное окружение превосходило конкретностью и материальностью впечатление яви. Я просыпался с парадоксальным ощущением, что явью, настоящей явью был именно сон, а то, что я вижу, открыв глаза, — это только какие-то высохшие тени.

Таким был первый образ, начало, из которого рождался сон. И только о самых простых снах я мог бы что-нибудь рассказать. То, что было в остальных, не имело уже никаких аналогий в реальности.

Были сны, когда в мёртвой, застывшей тьме я чувствовал себя предметом деловитых, неторопливых исследований, при которых не использовалось никаких ощущаемых мною инструментов. Это было проникновение, дробление, уничтожение до полной пустоты. Пределом, дном этих молчаливых истребительных пыток был страх, одно воспоминание о котором через много дней учащало сердцебиение.

А дни, одинаковые, как бы поблёкшие, полные скучного отвращения ко всему, вяло ползли в беспредельном равнодушии. Только ночей я боялся и не знал, как от них спастись. Бодрствовал вместе с Хари, которой сон был вообще не нужен, целовал её, ласкал, но знал, что дело тут не в ней и не во мне, что всё это я делаю в страхе перед сном, а она, хотя я и не говорил ей об этих потрясающих кошмарах ни слова, должно быть, о чём-то догадывалась, потому что я чувствовал в её покорности непрекращающееся унижение и ничего не мог с этим поделать.

Я уже говорил, что всё время я не виделся ни со Снаутом, ни с Сарториусом. Правда, Снаут каждые несколько дней давал о себе знать, иногда запиской, чаще телефонным звонком. Интересовался, не заметил ли я какого-нибудь появления чего-нибудь, что можно расценить как реакцию, вызванную столько раз повторённым экспериментом. Я отвечал, что не заметил, и сам задавал тот же вопрос. Снаут только отрицательно покачивал головой в глубине экрана.

На пятнадцатый день после прекращения экспериментов я проснулся раньше, чем обычно, настолько измученный кошмаром, словно очнулся от обморока, вызванного глубоким наркозом. Заслонок на окне не было, и я увидел в первых лучах красного солнца, как мёртвая равнина незаметно начинает волноваться. Её густой чёрный цвет сразу же побледнел, как бы покрытий тонкой пеленой тумана, но этот туман имел весьма материальную консистенцию. Кое-где в ней образовались центры волнения, и постепенно неопределённое движение охватило всё видимое пространство. Чёрный цвет исчез совсем, его заслонили светло-розовые на возвышениях и жемчужно-бурые во впадинах плёнки. Сначала краски чередовались, превра-

щая это удивительное покрывало океана в ряды застывших волн, потом всё смешалось, и уже весь океан был покрыт пузырящейся пеной, взлетающей огромными лоскутами вверх и под самой Станцией, и вокруг неё. Со всех сторон одновременно взметались в пустое красное небо перепончатокрылые глыбы пены, распростёртые горизонтально, совершенно непохожие на тучи, с шарообразными наростами по краям. Те, которые горизонтальными полосами заслонили низкий солнечный диск, были по контрасту с его сиянием чёрными, как уголь, другие, недалеко от солнца, в зависимости от угла, под которым их освещал свет восхода, рыжели, загорались вишнёвым цветом, красно-фиолетовым, и весь этот процесс продолжался, будто океан шелушился кровянистыми слоями, то показывая из-под них свою чёрную поверхность, то скрывая её новым налётом пены. Некоторые из этих глыб взлетали совсем рядом, сразу же за окнами, на расстоянии каких-нибудь метров, а одна даже скользнула своей шелковистой поверхностью по стеклу. В это время те, которые взлетали раньше, едва виднелись далеко в небе, как разлетевшиеся птицы, и прозрачной пеленой таяли в зените.

Станция застыла в неподвижности и висела

так около трёх часов, но зрелище продолжалось. Солнце уже провалилось за горизонт, океан под нами покрыла тьма, а рои тонких розоватых силуэтов поднимались всё выше и выше, возносясь как на невидимых струнах, неподвижные, невесомые, и это величественное вознесение продолжалось, пока не стало совсем темно.

Всё это поражающее своим спокойным размахом зрелище потрясло Хари, но я ничего не мог о нём сказать. Для меня, соляриста, оно было таким же новым и непонятным, как и для неё. Впрочем, не зарегистрированные ни в каких каталогах формы можно наблюдать на Солярисе два-три раза в год, а если немного повезёт, то даже чаще.

Следующей ночью, примерно за час до восхода голубого солнца, мы были свидетелями другого феномена — океан фосфоресцировал. Это явление было уже описано. Как правило, оно наблюдалось перед появлением асимметриад, вообще же говоря, это был типичный признак локального усиления активности плазмы. Однако в течение последующих двух недель вокруг Станции ничего не произошло. Только однажды глубокой ночью я услышал доносящийся словно ниоткуда и отовсюду сразу далёкий крик, необыкновенно высокий, пронзительный и протяжный, какие-то

нечеловеческие мощные рыдания. Вырванный из кошмара, я долго лежал, вслушиваясь, не совсем уверенный, что и этот крик не есть сон. Накануне из лаборатории, частично расположенной над нашей кабиной, доносились приглушённые звуки, словно там передвигали что-то тяжёлое. Мне показалось, что крик тоже доносится сверху, впрочем, совершенно непонятным способом, так как оба этажа разделялись звуконепроницаемым перекрытием. Этот агонизирующий голос слышался почти полчаса. Мокрый от пота, наполовину безумный, я хотел уже бежать наверх, он раздирал мне нервы. Но понемногу голос затих, и снова был слышен только звук передвигаемых тяжестей.

Через два дня, вечером, когда мы с Хари сидели в маленькой кухне, неожиданно вошёл Снаут. Он был в костюме, настоящем земном костюме, который его совершенно изменил. Он как будто постарел и стал выше. Почти не глядя на нас, он подошёл к столу, наклонился над ним и, даже не садясь, начал есть холодное мясо прямо из банки, заедая его хлебом. Рукав его пиджака несколько раз попал в банку и был весь перепачкан жиром.

— Пачкаешься, — сказал я.

— Гм? — пробурчал он полным ртом.

Он ел, как будто несколько дней у него ничего не было во рту, налил себе полстакана вина, одним духом выпил, вытер губы и, отдышавшись, огляделся налитыми кровью глазами. Потом посмотрел на меня и буркнул:

— Отпустил бороду?... Ну, ну...

Хари с грохотом бросала посуду в раковину. Снаут начал слегка покачиваться на каблуках, морщился и громко чмокал, очищая языком зубы. Мне казалось, что он делает это нарочно.

— Не хочется бриться, да? — спросил он, назойливо глядя на меня.

Я не ответил.

— Смотри! — бросил он, помедлив. — Не советую. Он тоже первым делом перестал бриться.

— Иди спать, — буркнул я.

— Что? Дураков нет. Почему бы нам не поговорить? Слушай, Кельвин, а может, он нам желает добра? Может, хочет нас осчастливить, только ещё не знает как? Он читает желания в наших мозгах, а ведь только два процента нервных процессов сознательны. Следовательно, он знает нас лучше, чем мы сами. Значит, нужно его слушать. Согласиться. Слышишь? Не хочешь? Почему, — его голос плаксиво дрогнул, — почему ты не бреешься.

— Перестань, — проворчал я. — Ты пьян.

— Что? Пьян? Я? Ну и что? Разве человек, который таскает своё дерьмо с одного конца Галактики на другой, чтобы узнать, чего он стоит, не может напиться? Почему? Ты веришь в миссию? А, Кельвин? Гибарян рассказывал мне о тебе до того, как отпустил бороду… Ты точно такой, как он говорил… Не ходи только в лабораторию, потеряешь ещё немного веры… Там творит Сарториус, наш Фауст ищет средства против бессмертия. Это последний рыцарь святого Контакта… его предыдущий замысел тоже был неплох — продолжительная агония. Неплохо, а? Agonia perpetua… соломка… соломенные шляпы… как ты можешь не пить, Кельвин?

Его почти невидящие глаза с опухшими веками остановились на Хари, которая неподвижно стояла у стены.

— О Афродита белая, океаном рождённая, — начал он декламировать и захлебнулся смехом. — Почти… точно… а, Кельвин? — прохрипел он, кашляя.

Я всё ещё был спокоен, но это спокойствие начинало переходить в холодную ярость.

— Перестань! — крикнул я. — Перестань и уходи!

— Выгоняешь меня? Ты тоже? Запускаешь бороду и выгоняешь меня? Уже не хочешь, чтобы я тебя предостерегал, чтобы советовал тебе, как один настоящий звёздный товарищ другому? Кельвин, давай откроем донные люки и будем кричать ему туда, вниз, может, услышит? Но как он называется? Подумай, мы назвали все звёзды и планеты, а может, они уже имели название? Что за узурпация? Слушай, пошли туда. Будем кричать… Будем рассказывать ему, что он из нас сделал, пока не ужаснётся… выстроит нам серебряные симметриады, и помолится за нас своей математикой, и окружит нас своими окровавленными ангелами, и его мука будет нашей мукой, и его страх — нашим страхом, и будет нас молить о конце. Почему ты смеёшься? Я ведь только шучу. Может быть, если бы наша порода имела больше чувства юмора, не дошло бы до этого. Знаешь, что он хочет сделать? Он хочет его покарать, этот океан, хочет довести его до того, чтобы кричал всеми своими горами сразу… думаешь, он не осмелится предложить свой план на утверждение этому склеротическому ареопагу, который нас послал сюда, как искупителей не своей вины? Ты прав, струсит… но только из-за шапочки. Шапочку не покажет никому, он не

настолько смел, наш Фауст…

Я молчал. Снаут шатался всё сильнее. Слёзы текли по его лицу и капали на костюм.

— Кто это сделал? Кто это сделал с нами? Гибарян? Гезе? Эйнштейн? Платон? Знаешь, всё это были убийцы. Подумай, в ракете человек может лопнуть, как пузырь, или застыть, или изжариться, или так быстро истечь кровью, что даже же крикнет, а потом только косточки стучат по металлу, кружась по ньютоновским орбитам с поправкой Эйнштейна, эти наши погремушки прогресса! А мы охотно… потому что это прекрасная дорога… мы дошли… и в этих клетушках, над этими тарелками, среди бессмертных судомоек, с отрядом верных шкафов, преданных клозетов, мы осуществили… посмотри, Кельвин. Если бы я не был пьян, не болтал бы так, но в конце концов должен это кто-нибудь сказать. Кто в этом виноват? Сидишь тут, как дитя на бойне, и волосы у тебя растут… Чья это вина? Сам себе ответь…

Он тихо повернулся и вышел, на пороге схватился за дверь, чтобы не упасть, и ещё долго эхо его шагов возвращалось к нам из коридора.

Я избегал взгляда Хари, но вдруг наши глаза встретились. Я хотел подойти к ней, обнять, погладить её по волосам, но не мог. Не мог.

Успех

Следующие три недели были как бы одним и тем же днём, который повторялся, каждый раз точно такой же, как вчерашний. Заслонки на окне задвигались и поднимались, по ночам меня швыряло из одного кошмара в другой, утром мы вставали, и начиналась игра, если это была игра. Я изображал спокойствие. Хари тоже. Эта молчаливая договорённость, сознание взаимной лжи стало нашим последним убежищем. Мы много говорили о том, как будем жить на Земле, как поселимся где-нибудь у большого города и никогда уже не покинем голубого неба и зелёных деревьев, вместе выдумывали обстановку нашего будущего дома, планировали сад и даже спорили о мелочах… о живой изгороди… о скамейке… Верил ли я в это хотя бы на секунду? Нет. Я знал, что это невозможно. Я знал об этом. Потому что даже если бы она могла покинуть Станцию — живая — то на Землю может прилететь только человек, а человек — это его документ. Первый же контроль прекратил бы это путешествие. Станут выяснять её личность, нас разлучат, и это

сразу же выдаст её. Станция была единственным местом, где мы могли жить вместе. Знала ли об этом Хари? Наверно. Сказал ли ей кто-нибудь об этом? После всех событий думаю, что да.

Однажды ночью я услышал сквозь сон, что Хари тихонько встаёт. Я хотел обнять её. Теперь только молча, только в темноте мы могли ещё на мгновение стать свободными, в забытьи, которое окружающая нас безысходность делала только коротенькой отсрочкой новой пытки. Она не заметила, что я проснулся, и, прежде чем я протянул руку, слезла с кровати. Я услышал — всё ещё полусонный — шлёпанье босых ног. Меня охватил неясный страх.

— Хари? — шепнул я. Хотел крикнуть, но не решился и сел на кровати. Дверь, ведущая в коридор, была прикрыта не до конца. Тонкая игла света наискось пронзала кабину. Мне показалось, что я слышу приглушённые голоса. Она с кем-то разговаривала? С кем?

Я вскочил с кровати, но на меня нахлынул такой чудовищный ужас, что ноги отказались повиноваться. Мгновение я стоял, прислушиваясь, было тихо, потом медленно вернулся в постель. В голове бешено пульсировала кровь. Хари скользнула внутрь и застыла, словно вслушиваясь в моё

дыхание. Я старался дышать мерно.

— Крис?... — шепнула она тихонько.

Я не ответил. Она быстро юркнула в постель. Я чувствовал, как она застыла выпрямившись, и неподвижно лежал рядом с ней, не знаю, как долго. Пробовал придумать какой-нибудь вопрос, но чем больше проходило времени, тем лучше я понимал, что не заговорю первый. Через некоторое время, может, через час, я заснул.

Утро было таким же, как всегда. Я подозрительно приглядывался к ней, но только тогда, когда она не могла этого заметить. После обеда мы сидели рядом против изогнутого окна, за которым парили низкие багровые тучи. Станция плыла среди них, словно корабль. Хари читала какую-то книжку, а я находился в том состоянии самосозерцания, которое так часто теперь было для меня единственной передышкой. Я заметил, что, наклонив голову определённым образом, могу увидеть наше отражение, прозрачное, но чёткое. Я переменил позу и снял руку с подлокотника. Хари — я видел это в стекле — бросила быстрый взгляд, удостоверилась, что я разглядываю океан, нагнулась над ручкой кресла и коснулась губами того места, до которого я только что дотрагивался. Я продолжал сидеть, неестественно неподвиж-

ный, а она склонила голову над книгой.

— Хари, — сказал я тихо, — куда ты выходила сегодня ночью?

— Ночью?

— Да.

— Тебе… что-нибудь приснилось. Я никуда не выходила.

— Не выходила?

— Нет. Тебе наверняка приснилось.

— Может быть, — сказал я. — Может быть, мне это и снилось…

Вечером, когда мы ложились, я снова начал говорить о нашем путешествии, о возвращении на Землю.

— Ах, не хочу об этом слышать, — прервала она. — Не надо, Крис. Ты ведь знаешь…

— Что?

— Нет, ничего.

Когда мы уже легли, она сказала, что ей хочется пить.

— Там на столе стоит стакан сока, дай мне, пожалуйста.

Она выпила полстакана и подала мне. У меня не было желания пить.

— За моё здоровье, — усмехнулась она.

Я выпил сок. Он показался мне немного солё-

ным, но я не обратил на это внимания.

— Если ты не хочешь говорить о Земле, то о чём? — спросил я, когда она погасила свет.

— Ты женился бы, если бы меня не было?

— Нет.

— Никогда?

— Никогда.

— Почему?

— Не знаю. Я был один десять лет и не женился. Не будем об этом говорить, дорогая…

У меня шумело в голове, будто я выпил по крайней мере бутылку вина.

— Нет, будем, обязательно будем. А если бы я тебя попросила?

— Чтобы я женился? Чушь, Хари. Мне не нужен никто, кроме тебя.

Она наклонилась надо мной. Я чувствовал её дыхание на губах, потом она обняла меня так сильно, что охватывающая меня неодолимая сонливость на мгновение отступила.

— Скажи это по-другому.

— Я люблю тебя.

Хари уткнулась лицом в мою грудь, и я почувствовал, что она плачет.

— Хари, что с тобой?

— Ничего. Ничего. Ничего, — повторяла она

всё тише. Я пытался открыть глаза, но они снова закрывались. Не помню, как я заснул.

Меня разбудил красный свет. Голова была как из свинца, а шея неподвижная, словно все позвонки срослись. Я не мог пошевелить шершавым, омерзительным языком, «Может быть, я чем-нибудь отравился?» — подумал я, с усилием поднимая голову. Я протянул руку в сторону Хари, наткнулся на холодную простыню и вскочил.

Кровать была пуста, в кабине — никого. Красными дисками повторялись в стёклах отражения солнца. Я прыгнул на пол. Должно быть, я выглядел комично, потому что зашатался как пьяный. Хватаясь за мебель, добрался до шкафа — в ванной никого не было. В коридоре и в лаборатории — тоже.

— Хари!! — заорал я, стоя посреди коридора и беспорядочно размахивая руками. — Хари… — прохрипел я ещё раз, уже поняв.

Не помню точно, что потом происходило. Наверное, я бегал полуголый по всей Станции. Припоминаю только, что был даже в холодильнике, а потом в самом последнем складе и молотил кулаками в запертую дверь. Может быть, даже я был там несколько раз. Лестницы грохотали, я оборачивался, срываясь с места, снова куда-то

мчался, пока не очутился у прозрачного щита, за которым находился выход наружу: двойная бронированная дверь. Я колотил в неё изо всех сил и кричал, требовал, чтобы это был сон. Кто-то уже некоторое время был со мной, удерживал меня, куда-то тянул. Потом я оказался в маленькой лаборатории, в рубашке, мокрой от ледяной воды, со слипшимися волосами, ноздри и язык мне обжигал спирт, я полулежал, задыхаясь, на чём-то холодном, металлическом, а Снаут в своих перепачканных штанах возился у шкафчика с лекарствами, что-то доставал, инструменты и стёкла ужасно гремели.

Вдруг я увидел его перед собой. Он смотрел мне в глаза, внимательный, сгорбившийся.

— Где она?

— Её нет.

— Но… но Хари…

— Нет больше Хари, — сказал он медленно, выразительно, приблизив лицо ко мне, как будто нанёс мне удар и теперь изучал его результат.

— Она вернётся… — прошептал я, закрывая глаза. И в первый раз я действительно этого не боялся. Не боялся её призрачного возвращения. Я не понимал, как мог её когда-то бояться.

— Выпей это.

Он подал мне стакан с тёплой жидкостью. Я посмотрел на него и внезапно выплеснул всё содержимое ему в лицо. Он отступил, протирая глаза, а когда открыл их, я уже стоял над ним. Он был такой маленький…

— Это ты?

— О чём ты говоришь?

— Не ври, знаешь о чём. Это ты говорил с ней тогда, ночью. И приказал ей дать мне снотворное?… Что ты с ней сделал? Говори!!!

Он что-то искал у себя на груди, потом достал измятый конверт. Я схватил его. Конверт был заклеен. Снаружи никакой надписи.

Я лихорадочно рванул бумагу, изнутри выпал сложенный вчетверо листок. Крупные, немного детские буквы, неровные строчки. Я узнал почерк.

> «Любимый, я сама попросила его об этом. Он добрый. Ужасно, что пришлось тебя обмануть, но иначе было нельзя. Слушайся его и не делай себе ничего плохого — это для меня. Ты был очень хороший».

Внизу было одно зачёркнутое слово, я сумел его прочитать: «Хари». Она его написала, потом замазала. Была ещё одна буква, не то Х, не то К,

тоже зачёркнутая. Я уже слишком успокоился, чтобы устраивать истерику, но не мог издать ни одного звука, даже застонать.

— Как? — прошептал я. — Как?

— Потом, Кельвин. Успокойся.

— Я спокоен. Говори. Как?

— Аннигиляция.

— Как же это? Ведь аппарат?! — меня словно подбросило.

— Аппарат Роше не годился. Сарториус собрал другой, специальный дестабилизатор. Маленький. Он действовал только в радиусе нескольких метров.

— Что с ней?…

— Исчезла. Блеск и порыв ветра. Слабый порыв. Ничего больше.

— В небольшом радиусе, говоришь?

— Да. На большой не хватило материалов.

На меня начали падать стены. Я закрыл глаза.

— Боже… она… вернётся, вернётся ведь…

— Нет.

— Как это нет?

— Нет, Кельвин. Помнишь ту возносящуюся пену? С этого времени уже не возвращаются.

— Больше нет?

— Нет.

— Ты убил её, — сказал я тихо.

— Да. А ты бы не сделал этого? На моём месте.

Я сорвался с места и начал ходить всё быстрее. От стены в угол и обратно. Девять шагов. Поворот. Девять шагов.

Потом остановился перед ним:

— Слушай, подадим рапорт. Потребуем связать нас непосредственно с Советом. Это можно сделать. Они согласятся. Должны. Планета будет исключена из конвенции Четырёх. Все средства позволены. Доставим генераторы антиматерии. Думаешь, есть что-нибудь, что устоит против антиматерии? Ничего нет! Ничего! Ничего! — кричал я, слепой от слёз.

— Хочешь его уничтожить? — спросил он, — Зачем?

— Уйди. Оставь меня!

— Не уйду.

— Снаут!

Я смотрел ему в глаза. «Нет», — покачал он головой.

— Чего ты хочешь? Чего ты хочешь от меня?

Он подошёл к столу.

— Хорошо. Напишем рапорт.

Я отвернулся и начал ходить.

— Садись.

— Оставь меня в покое.

— Существует две стороны вопроса. Первая — это факты. Вторая — наши требования.

— Обязательно сейчас говорить об этом?

— Да, сейчас.

— Не хочу. Понимаешь? Меня это не касается.

— Последний раз мы посылали сообщение перед смертью Гибаряна. Это было больше двух месяцев назад. Мы должны установить точный процесс появления…

— Не перестанешь? — Я схватил его за грудь.

— Можешь меня бить, — сказал он, — но я всё равно буду говорить.

Я отпустил его.

— Делай что хочешь.

— Дело в том, что Сарториус постарается скрыть некоторые факты. Я в этом почти уверен.

— А ты нет?

— Нет. Теперь уже нет. Это касается не только нас. Знаешь, о чём речь? Океан обнаружил разумную деятельность. Он знает строение, микроструктуру, метаболизм наших организмов…

— Отлично. Что же ты остановился? Проделал на нас серию… серию… экспериментов. Психической вивисекции. Опираясь на знания, которые выкрал из наших голов, не считаясь с тем, к чему

мы стремимся.

— Это уже не факты и даже не выводы, Кельвин. Это гипотезы. В некотором смысле он считался с тем, чего хотела какая-то замкнутая, скрытая часть нашего сознания. Это могли быть дары…

— Дары! Великое небо!

Я начал смеяться.

— Перестань! — крикнул он, хватая меня за руку.

Я стиснул его пальцы и сжимал их всё сильней, пока не хрустнули кости. Он смотрел на меня, прищурив глаза. Я отпустил его, отошёл в угол и, стоя лицом к стене, сказал:

— Постараюсь не устраивать истерик.

— Всё это неважно. Что мы предлагаем?

— Говори ты. Я сейчас не могу. Она сказала что-нибудь, прежде чем?…

— Нет. Ничего. Я считаю, что у нас появится шанс.

— Шанс? Какой шанс? На что? — Внезапно я понял: — Контакт? Снова контакт? Мало мы ещё — и ты, ты сам, и весь этот сумасшедший дом… Контакт? Нет, нет, нет. Без меня.

— Почему? — спросил он совершенно спокойно. — Кельвин, ты всё ещё, а теперь даже больше, чем когда-либо, инстинктивно относишься к

нему, как к человеку. Ненавидишь его.

— А ты нет?

— Нет. Кельвин, ведь он слепой…

— Слепой? — Мне показалось, что я ослышался.

— Разумеется, в нашем понимании. Мы не существуем для него, как друг для друга. Лица, фигуры, которые мы видим, позволяют нам узнавать отдельных индивидуумов, Для него всё это прозрачное стекло. Он ведь проникал внутрь наших мозгов.

— Ну, хорошо. Но что из этого следует? Что ты хочешь доказать? Если он может оживить, создать человека, который не существует вне моей памяти, и сделать это так, что её глаза, жесты, её голос… голос…

— Говори! Говори дальше, слышишь!!!

— Говорю… говорю… Да. Итак… голос… из этого следует, что он может читать в нас, как в книге. Понимаешь, что я хочу сказать?

— Да. Что, если бы хотел, мог бы понять нас.

— Конечно. Разве это не очевидно?

— Нет. Вовсе нет. Ведь он мог взять только производственный рецепт, который состоит не из слов. Это сохранившаяся в памяти запись, то есть белковая структура, как головка сперматозоида

или яйцо. В мозгу нет никаких слов, чувств, воспоминание человека — это образ, записанный языком нуклеиновых кислот на молекулярных асинхронных кристаллах. Ну он и взял то, что было в нас лучше всего вытравлено, сильнее всего заперто, наиболее полно, наиболее глубоко отпечатано, понимаешь? Но он совсем не должен был знать, что это для нас значит, какой имеет смысл. Так же как если бы мы сумели создать симметриаду и бросили её в океан, зная архитектуру, технологию и строительные материалы, но не понимая, для чего она служит, чем она для него является…

— Это возможно, — сказал я. — Да, это возможно. В таком случае он совсем… может, вообще не хотел растоптать нас и смять. Может быть. И только случайно… — У меня задрожали губы.

— Кельвин!

— Да, да. Хорошо. Уже всё в порядке. Ты добрый. Он тоже. Все добрые. Но зачем? Объясни мне. Зачем? Для чего ты это сделал? Что ты ей сказал?

— Правду.

— Правду, правду! Что?

— Ты ведь знаешь. Пойдём-ка лучше ко мне. Будем писать рапорт. Пошли.

— Погоди. Чего же ты всё-таки хочешь? Ведь не

собираешься же ты остаться на Станции?…

— Да, я хочу остаться. Хочу.

Старый мимоид

Я сидел у большого окна и смотрел в океан. У меня не было никаких дел. Рапорт, отработанный за пять дней, превратился теперь в пучок волн, мчащийся сквозь пустоту где-то за созвездием Ориона. Добравшись до тёмной пылевой туманности, занимающей объём в восемь триллионов кубических миль и поглощающей лучи света и любые другие сигналы, он натолкнётся на первый в длинной цепи передатчик. Отсюда, от одного радиобуя к другому, скачками длиной в миллиарды километров он будет мчаться по огромной дуге, пока последний передатчик, металлическая глыба, набитая тесно упакованными точными приборами, с удлинённой мордой направленной антенны, не сконцентрирует его последний раз и не швырнёт дальше в пространство, к Земле. Потом пройдут месяцы, и точно такой же пучок энергии, за которым потянется борозда ударной деформации гравитационного поля Галактики, отправленный с Земли, достигнет начала космической тучи, проскользнёт мимо неё по ожерелью свободно дрейфующих буёв и, усиленный ими,

не уменьшая скорости, помчится к двум солнцам Соляриса.

Океан под высоким красным солнцем был чернее, чем обычно. Рыжая мгла сплавляла его с небом. День был удивительно душный, как будто предвещал одну из тех исключительно редких и невообразимо яростных бурь, которые несколько раз в году бывают на планете. Существовали основания считать, что её единственный обитатель контролирует климат и эти бури вызывает сам.

Ещё несколько месяцев мне придётся смотреть из этих окон, с высоты наблюдать восходы белого золота и скучного багрянца, время от времени отражающиеся в каком-нибудь жидком извержении, в серебристом пузыре симметриады, следить за движением наклонившихся от ветра стройных быстренников, встречать выветрившиеся, осыпающиеся мимоиды. В один прекрасный день экраны всех визиофонов наполнятся светом, вся давно уже мёртвая электронная система сигнализации оживёт, запущенная импульсом, посланным с расстояния сотен тысяч километров, извещая о приближении металлического колосса, который с протяжным громом гравитаторов опустится над океаном. Это будет «Улисс», или «Прометей», или какой-нибудь другой большой

крейсер дальнего плавания. Люди, спустившиеся с плоской крыши Станции по трапу, увидит шеренги бронированных, массивных автоматов, которые не делят с человеком первородного греха и настолько невинны, что выполняют каждый приказ. Вплоть до полного уничтожения себя или преграды, которая стоит у них на пути, если так была запрограммирована их кристаллическая память. А потом звездолёт поднимается, обогнав звук, и только потом достигнет океана конус разбитого на басовые октавы грохота, а лица всех людей на мгновение прояснятся от мысли, что они возвращаются домой.

Но у меня нет дома. Земля? Я думаю о её больших, набитых людьми, шумных городах, в которых потеряюсь, исчезну почти так же, как если бы совершил то, что хотел сделать на вторую или третью ночь, — броситься в океан, тяжело волнующийся внизу. Я утону в людях. Буду молчаливым и внимательным, и за это меня будут ценить товарищи. У меня будет много знакомых, даже приятелей, и женщины, а может, и одна женщина. Некоторое время я должен буду делать усилие, чтобы улыбаться, раскланиваться, вставать, выполнять тысячи мелочей, из которых складывается земная жизнь. Потом всё войдёт

в норму. Появятся новые интересы, новые занятия, но я не отдамся им весь. Ничему и никому никогда больше. И, быть может, по ночам буду смотреть туда, где на небе тьма пылевой тучи, как чёрная занавеска, задерживает блеск двух солнц, и вспоминать всё, даже то, что я сейчас думаю. И ещё я вспомню со снисходительной улыбкой, в которой будет немножко сожаления, но одновременно и превосходства, моё безумие и надежды. Я вовсе не считаю себя, того, из будущего, хуже, чем тот Кельвин, который был готов на всё для дела, названном Контактом. И никто не будет иметь права осудить меня.

В кабину вошёл Снаут. Он осмотрелся, взглянул на меня. Я встал и подошёл к столу.

— Тебе что-нибудь нужно?

— Мне кажется, ты изнываешь от безделья, — сказал он, моргая. — Я мог бы тебе дать кое-какие вычисления, правда, это не срочно…

— Спасибо, — усмехнулся я. — Не требуется.

— Ты в этом уверен? — спросил он, глядя в окно.

— Да. Я размышлял о разных вещах и…

— Лучше бы ты поменьше размышлял.

— Ах, ты абсолютно не понимаешь, о чём речь. Скажи мне, ты… веришь в бога?

Он быстро взглянул на меня.

— Ты что?! Кто же в наши дни верит… В его глазах тлело беспокойство.

— Это не так просто, — сказал я нарочито лёгким тоном. — Я не имею в виду традиционного бога земных верований. Я не знаток религии и, возможно, не придумал ничего нового… ты, случайно, не знаешь, существовала ли когда-нибудь вера… в ущербного бога?

— Ущербного? — повторил он, поднимая брови. — Как это понять? В определённом смысле боги всех религий ущербны, ибо наделены человеческими чертами, только укрупнёнными. Например, — бог Ветхого завета был жаждущим раболепия и жертвоприношений насильником, завидующим другим богам… Греческие боги из-за своей скандальности, семейных распрей были в не меньшей степени по-людски ущербны…

— Нет, — прервал я его.— Я говорю о боге, чьё несовершенство не является следствием простодушия создавших его людей, а представляет собой его существеннейшее имманентное свойство. Это должен быть бог ограниченный в своём всеведении и всемогуществе, который ошибочно предвидит будущее своих творений, которого развитие предопределённых им самим явлений

может привести в ужас. Это бог… увечный, который желает всегда больше, чем может, и не сразу это осознаёт. Он сконструировал часы, но не время, которое они измеряют. Системы или механизмы, служащие для определённых целей, но они переросли эти цели и изменили им. И сотворил бесконечность, которая из меры его могущества, какой она должна была быть, превратилась в меру его безграничного поражения.

— Когда-то манихейство… — неуверенно заговорил Снаут; сдержанная подозрительность, с которой он обращался ко мне в последнее время, исчезла.

— Но это не имеет ничего общего с первородством добра и зла, — перебил я его сразу же. — Этот бог не существует вне материи и не может от неё освободиться, он только жаждет этого…

— Такой религии я не знаю, — сказал он, немного помолчав. — Такая никогда не была… нужна. Если я тебя хорошо понял, а боюсь, что это так, ты думаешь о каком-то эволюционирующем боге, который развивается во времени и растёт, поднимаясь на всё более высокие уровни могущества, к осознанию собственного бессилия? Этот твой бог — существо, которое влезло в божественность, как в ситуацию, из которой нет выхода, а поняв

это, предалось отчаянию. Да, но отчаявшийся бог — это ведь человек, мой милый. Ты говоришь о человеке… Это не только скверная философия, но и скверная мистика.

— Нет, — ответил я упрямо. — Я говорю не о человеке. Может быть, некоторыми чертами он и отвечает этому предварительному определению, но лишь потому, что оно имеет массу пробелов. Человек, вопреки видимости, не ставит перед собой целей. Их ему навязывает время, в котором он родился, он может им служить или бунтовать против них, но объект служения или бунта дан извне. Чтобы изведать абсолютную свободу поисков цели, он должен был бы остаться один, а это невозможно, поскольку человек, не воспитанный среди людей, не может стать человеком. Этот… мой, это должно быть существо, не имеющее множественного числа, понимаешь?

— А,— сказал он, — и как я сразу… — и показал рукой на окно.

— Нет, — возразил я. — Он тоже нет. Он упустил шанс превратиться в бога, слишком рано замкнувшись в себе. Он скорее анахорет, отшельник космоса, а не его бог… Он повторяется, Снаут, а тот, о котором я думаю, никогда бы этого не сделал. Может, он как раз подрастает в каком-нибудь

уголке Галактики и скоро в порыве юношеского упоения начнёт гасить одни звёзды и зажигать другие. Через некоторое время мы это заметим…

— Уже заметили, — кисло сказал Снаут. — Новые и Сверхновые… По-твоему, это свечи его алтаря?

— Если то, что я говорю, ты хочешь трактовать так буквально…

— А может, именно Солярис — колыбель твоего божественного младенца, — добавил Снаут. Он всё явственнее улыбался, и тонкие морщинки окружили его глаза. — Может, именно он и является, если встать на твою точку зрения, зародышем бога отчаяния, может, его жизненная наивность ещё значительно превышает его разумность, а всё содержимое наших соляристических библиотек — только большой каталог его младенческих рефлексов…

— А мы в течение какого-то времени были его игрушками, — докончил я. — Да, это возможно. Знаешь, что тебе удалось? Создать совершенно новую гипотезу по поводу Соляриса, а это действительно кое-что! И сразу же получаешь объяснение невозможности установить контакт, отсутствию ответов, определённой — назовём это так — экстравагантности в обхождении с нами;

психика маленького ребёнка…

— Отказываюсь от авторства, — буркнул стоявший у окна Снаут.

Некоторое время мы смотрели на чёрные волны. У восточного края горизонта в тумане вырисовывалось бледное продолговатое пятнышко.

— Откуда у тебя взялась эта концепция ущербного бога? — спросил он вдруг, не отрывая глаз от залитой сиянием пустыни.

— Не знаю. Она показалась мне очень, очень верной. Это единственный бог, в которого я был бы склонен поверить, чья мука не есть искупление, никого не спасает, ничему не служит, она просто есть.

— Мимоид, — совсем тихо, каким-то другим голосом сказал Снаут.

— Что? А, да. Я его уже заметил. Он очень старый. Мы оба смотрели в подёрнутую рыжей мглой даль.

— Полечу, — неожиданно сказал я. — Тем более я ещё ни разу не выходил наружу, а это удачный повод. Вернусь через полчаса.

— Что такое? — У Снаута округлились глаза. — Полетишь? Куда?

— Туда. — Я показал на маячившую в тумане глыбу. — А почему бы нет? Возьму маленький

вертолёт. Было бы просто смешно, если бы на Земле мне пришлось когда-нибудь признаться, что я, солярист, ни разу не коснулся ногой поверхности Соляриса.

Я подошёл к шкафу и начал рыться в комбинезонах. Снаут молча наблюдал за мной, потом произнёс:

— Не нравится мне всё это.

— Что? — Держа в руках комбинезон, я обернулся. Меня охватило уже давно не испытанное возбуждение. — О чём ты? Карты на стол! Боишься, как бы я что-нибудь… Чушь! Даю слово, что нет. Я даже не думал об этом. Нет, действительно нет.

— Я полечу с тобой.

— Спасибо, но мне хочется одному. Это что-то новое, что-то совсем новое, — я говорил быстро, натягивая комбинезон.

Снаут бубнил ещё что-то, но я не очень прислушивался, разыскивая нужные мне вещи. Когда я надевал скафандр, он вдруг спросил:

— Слушай, слово ещё имеет для тебя какую-нибудь ценность?

— О господи, Снаут, ты всё о том же! Имеет. И я тебе уже его дал. Где запасные баллоны?

Я отошёл от вертолёта на полтора десятка

шагов и уселся на шершавую, потрескавшуюся «землю». Чёрная волна тяжело вползла на берег, расплющилась, стала совсем бесцветной и откатилась, оставив тонкие дрожащие нитки слизи. Я спустился ниже и протянул руку к следующей волне. Она немедленно повторила тот феномен, который люди увидели впервые почти столетие назад, — задержалась, немного отступила, охватила мою руку, не дотрагиваясь до неё, так, что между поверхностью рукавицы и внутренней стенкой углубления, которое сразу же сменило консистенцию, став упругим, осталась тонкая прослойка воздуха. Я медленно поднял руку. Волна, точнее её узкий язык, потянулась за ней вверх, по-прежнему окружая мою ладонь светлым грязно-зелёным комком. Я встал, так как не мог поднять руку выше, перемычка студенистой субстанции напряглась, как натянутая струна, но не порвалась. Основание совершенно расплющенной волны, словно удивительное существо, терпеливо ожидающее окончания этих исследований, прильнуло к берегу вокруг моих ног, также не прикасаясь к ним. Казалось, что из океана вырос тягучий цветок, чашечка которого окружила мои пальцы, став их точным, только негативным изображением. Я отступил.

Стебель задрожал и неохотно вернулся вниз, эластичный, колеблющийся, неуверенный, волна приподнялась, вбирая его в себя, и исчезла за обрезом берега. Я повторил эту игру, и снова, как сто лет назад, какая-то очередная волна равнодушно откатилась, будто насытившись новыми впечатлениями. Я знал, что пробуждения её «любопытства» пришлось бы ждать несколько часов. Я снова сел, но это зрелище, хорошо известное мне теоретически, что-то во мне изменило. Теория не могла, не сумела заменить реального ощущения.

В зарождении, росте и распространении этого существа, в каждом его отдельном движении и во всех вместе появлялась какая-то осторожная, но не пугливая наивность. Оно страстно, порывисто старалось познать, постичь новую, неожиданно встретившуюся форму и на полдороге вынуждено было отступить, когда появилась необходимость нарушить таинственным законом установленные границы. Эта резвая любознательность совсем не вязалась с гигантом, который, сверкая, простирался до самого горизонта. Никогда я так не ощущал его исполинской реальности, чудовищного, абсолютного молчания.

Подавленный, ошеломлённый, я погружался

в, казалось бы, недоступное состояние неподвижности, всё стремительнее соединялся с этим жидким слепым колоссом и без малейшего насилия над собой, без слов, без единой мысли прощал ему всё.

Всю последнюю неделю я вёл себя так рассудительно, что недоверчивый взгляд Снаута перестал меня преследовать. Наружно я был спокоен, но в глубине души, не отдавая себе в этом отчёта, чего-то ожидал. Чего? Её возвращения? Как я мог? Я ни на секунду не верил, что этот жидкий гигант, который уготовил в себе гибель многим сотням людей, к которому десятки лет вся моя раса напрасно пыталась протянуть хотя бы ниточку понимания, что он, поднимающий меня, как пылинку, даже не замечая этого, будет тронут трагедией двух людей. Но ведь его действия были направлены к какой-то цели. Правда, я даже в этом не был до конца уверен. Но уйти — значило отказаться от этого исчезающе маленького, может быть, только в воображении существующего шанса, который скрывало будущее. Итак, года среди предметов, вещей, до которых мы оба дотрагивались, помнящих ещё наше дыхание? Во имя чего? Надежды на её возвращение? У меня не было надежды. Но жило во

мне ожидание, последнее, что у меня осталось от неё. Каких свершений, издевательств, каких мук я ещё ожидал? Не знаю. Но я твёрдо верил в то, что не прошло время ужасных чудес.

Закопане, июнь 1959 — июнь 1960